Почему мы вернулись на Родину

свидетельства реэмигрантов



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
·ПРОГРЕСС·

Почему мы вернулись на Родину

свидетельства резмигрантов



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
· ПРОГРЕСС ·

Составители, авторы предисловия и вводных статей
А. П. Осадчая, кандидат философских наук А. Л. Афанасьев, Ю. К. Баранов

Редактор А. А. Файнгар

Почему мы вернулись на Родину. Свидетельства реэмигрантов. Сборник.— М.: Прогресс, 1983.—264 с.

Книга впервые знакомит читателя с историей реэмиграции — возвращения на Родину наших соотечественников, по разным причинам оказавшихся за рубежами СССР.

Писатели А. Толстой и А. Куприн, скульпторы С. Коненков и С. Эрьзя, артист А. Вертинский, генерал В. Яхонтов, митрополит Вениамин и многие другие рассказывают о своем жизненном пути, превратностях пребывания за границей, о своем пути на Родину.

ИБ № 12330

Художник *В. В. Кулешов*. Художественный редактор *В. А. Пузанков*. Технический редактор *Т. И. Воскресенская*. Корректор *М. А. Таги-Заде*.

Сдано в набор 21.09.82. Подписано в печать 27.I.83 г. А—03424. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура тип-таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 13,86. Усл. кр-отт. 15,83. Уч.-изд. л. 13,75. Тираж 100 000 экз. Заказ № 875. Цена 45 коп. Изд. № 3647. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17. Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Можайск, ул. Мира, 93.

$К \frac{70700\text{-}131}{006(01)\text{-}83}$ — КБ 33-35-82 4702010000

На Большую землю

С первых дней Великого Октября одной из излюбленных тем буржуазной пропаганды была российская эмиграция. В то же время практически полностью замалчивался обратный процесс — возвращение людей на Родину, процесс, начавшийся сразу же после победы Великой Октябрьской социалистической революции и окончания гражданской войны.

Этот сборник — первая попытка собрать в одной книге материалы о реэмигрантах разных лет. Основную его часть составляют их собственные свидетельства — отрывки из воспоминаний, статьи, в разное время публиковавшиеся в газетах и журналах.

Кто же такой русский эмигрант (за рубежом часто называют русскими всех выходцев из нашей страны независимо от их национальной принадлежности)? Десятилетиями на Западе создавался миф о том, что это человек, бежавший «от большевиков», несогласный с «коммунистическим режимом», «жертва революции». Образы русских эмигрантов замелькали на страницах романов, на театральных подмостках, на экранах кинематографа. В двадцатые годы, например, Михаил Чехов, знаменитый актер, эмигрант, блистательно сыграл в Париже роль русского князя, работающего слугой во французской буржуазной семье. Громовым смехом встречала публика финальную сцену пьесы, когда князь-слуга, отправляясь на эмигрантский прием в своем полинялом, но тщательно сохраняемом раззолоченном мундире, прихватывал мусорное ведро, чтобы попутно завернуть на помойку. Симпатии зала, естественно, были на стороне обаятельного аристократа, бежавшего от революции. Так создавалось представление, что русский

за рубежом — либо князь, которого большевики разорили, либо генерал, которого большевики разгромили, либо интеллектуал, которого большевики не оценили. Это стандартное представление не имеет ничего общего с реальностью. И дело даже не в том, что выбитые за пределы России белые армии (как любые армии) имели в своем составе больше солдат, нежели генералов. Дело совсем в другом. Неверно само представление, упорно культивируемое на Западе, что основная масса русских эмигрантов покинула родину из-за «неприятия революции».

Самая многочисленная волна эмиграции из нашей страны — эмиграция дореволюционная. Именно эти люди и их потомки составили основую массу «российского зарубежья». Вот цифры: с 1828 по 1915 год из Российской империи эмигрировало 4 509 495 человек. Счет этот вели не русские, а американские, канадские, аргентинские чиновники. Они безбожно перевирали трудные для их слуха фамилии россиян, но головы считали точно. Вернее, не головы, а пары рабочих рук, в которых тогда нуждался Новый Свет.

Ну, а сколько людей оказалось за рубежом вследствие Октябрьской революции и гражданской войны? Точных, выверенных до одного человека, данных, разумеется, нет и быть не может. Вот оценка В. И. Ленина, сделанная им в 1921 году: «После того, как мы отразили наступление мировой контрреволюции, образовалась заграничная организация русской буржуазии и всех русских контрреволюционных партий. Можно считать число русских эмигрантов, которые расселились по всем заграничным странам, в полтора или два миллиона»[1].

Не свидетельствует ли эта цифра о невиданном в истории «исходе» с родной земли? Нет. Каждая революция вызывает массовые перемещения людей. Например, после Великой Французской революции 1789 года страну покинуло около 150 тысяч человек. Если сопоставить население России начала XX и Франции конца XVIII века, получается, что Французская революция повлияла на эмиграцию не меньше Октябрьской.

Выходит, что среднестатистическая фигура российско-

[1] В. И. Ленин. Собр. соч., т. 44, с. 39.

го эмигранта непохожа на созданный западной пропагандой образ. Одета она не в генеральский мундир и не носит профессорского пенсне. Это попросту бедняк, который бился-бился в нужде, а потом махнул рукой, да и подался в Америку: авось, там повезет...

Из среды дореволюционной, или «трудовой», эмиграции и поднялась первая волна реэмиграции в Советскую Россию. Сохранились сведения, что, например, только за последние месяцы 1920 и первые месяцы 1921 года через одну Либаву (ныне Лиепая) прошло свыше 16 тысяч реэмигрантов. Декретом Совнаркома от 22 августа 1921 г. был определен порядок получения этой категорией лиц советского гражданства.

Многие группы эмигрантов из России, проживавшие в разных странах, обращались к Советскому правительству с просьбами разрешить им вернуться на родину. «Трудовые и беднейшие элементы [русской] колонии,— говорилось, например, в письме российских иммигрантов, проживавших в Лос-Анджелесе, США,— повсеместно являются самыми искренними друзьями Советской России, бедствие которой в настоящее время заставило нас сплотиться для помощи голодающим. Мы верим и ждем, что Советское правительство поможет нам осуществить нашу мечту о возврате на родную землю для коммунистического строительства».

С октября 1922 по август 1925 года специальная комиссия Совета Труда и Обороны дала разрешение на въезд в СССР 21 группе крестьян (2689 человек) для работы в сельском хозяйстве и 11 группам рабочих (3249 человек) для работы в промышленности. Кроме того, в персональном порядке за этот период комиссия выдала разрешение на въезд 1773 реэмигрантам. Все эти данные относятся к возвращению на родину дореволюционных эмигрантов из Америки. Но одновременно с ними возвращались и те, кто еще вчера с оружием в руках сражался против Советской власти.

3 ноября 1921 года был принят декрет ВЦИК об амнистии рядовым участникам белогвардейских военных организаций. «Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе этих рабочих и крестьян, которые,

поняв свои заблуждения, стремятся вернуться на родину, чтобы своим трудом искупить свои ошибки и помочь восстановлению народного хозяйства»,— говорилось в декрете, который, несмотря на все чинимые властями буржуазных стран препятствия, все же доходил до бывших солдат и офицеров разбитых белых армий.

В течение одного лишь 1921 года в Советскую Россию вернулось более 120 тысяч бывших белогвардейцев. Причем не только рядовых, не только солдат и казаков. Возвращались и офицеры и генералы. Этот процесс изобиловал драматическими эпизодами. Вожди белогвардейщины, ее твердолобое, ничего не понявшее и ничему не научившееся ядро яростно сопротивлялось распаду белой эмиграции[1]. Пожелавших вернуться на родину не только запугивали, но, случалось, и убивали...

3 ноября 1922 года в столице Болгарии Софии бывший русский офицер Николай Бойчаров застрелил своего недавнего сослуживца Александра Агеева. Агеев был редактором газеты «На Родину» и одним из организаторов «Союза возвращения на Родину» (сокращенно «Совнарод»). Он возглавил кампанию за признание Советской России. В своем первом номере газета «На Родину» писала: «Мы зовем всех честных людей русской эмиграции, которым... дороги интересы родной страны, сомкнуть свои ряды под флагом нашей организации и газеты и вместе с нами начать дело исправления наших ошибок, сознательно или бессознательно нами совершенных, дело искупления наших грехов». Этот призыв стоил Агееву жизни...

«Свободная пресса», расписывая «страдания» беглых «высочеств», «сиятельств» и «превосходительств», упорно «не замечала» ни тех, кто променял относительное благополучие в США или Канаде на нелегкую жизнь в Советской России, ни тех, кто нашел в себе мужество отказаться от «белой идеи» и воссоединиться со своим народом.

Не взрывалась она сенсациями и по поводу того, что с середины двадцатых годов один за другим стали возвра-

---

[1] Подробно об этом см.: *Шкаренков Л. К.* Агония белой эмиграции. М., 1981; *Иоффе Г. З.* Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977; *Федюкин С. А.* Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к нэпу. М., 1977.

щаться в СССР видные интеллигенты, вначале не понявшие и не принявшие революции. Возвращаются писатели Алексей Толстой, Андрей Белый, Александр Куприн, художник И. Билибин, композитор С. Прокофьев и многие другие. Это люди, чаще всего не бедствовавшие на Западе и, как правило, происходившие из привилегированных кругов дореволюционной России.

Тенденции поведения белой эмиграции, тактику ее различных группировок тщательно анализировал В. И. Ленин. Большой интерес Владимира Ильича вызывало «сменовеховство»— движение, затронувшее различные слои эмиграции и часть интеллигенции в Советской России. Движение было весьма сложным и неоднородным: советские исследователи отмечают в нем наличие правого и левого крыла. «Правые» делали ставку на возможность реставрации капитализма в России и перерождение Советской власти, «левые» шли на честное сотрудничество с большевиками. Наша партия в те годы вела, с одной стороны, борьбу с реставраторской идеологией «сменовеховства», но, с другой — поддерживала представителей левого крыла, выступавших в пользу Советской власти, за возвращение на Родину.

По предложению Ленина главный редактор журнала «Смена вех» Ю. Ключников (в годы гражданской войны он был министром иностранных дел в «правительстве» Колчака) был привлечен в качестве эксперта советской делегации в Генуе. Это важная деталь, характерная для ленинского стиля работы, в основе которого лежит, наряду с высокой требовательностью и партийной принципиальностью, доверие к людям, умение разбираться в природе человеческих исканий и раздумий. В 1923 году Ю. Ключников вернулся на Родину. Вернулись и многие другие сменовеховцы.

Знакомясь с судьбами тех, кто нашел в себе мужество отказаться от прежних заблуждений, признать правоту избранного родной страной пути и воссоединиться с Отечеством, читатель, разумеется, не должен забывать и о том, что значительные слои эмиграции так и остались на антисоветских позициях. Деникинские поручики и полковники продолжали надеяться на «победоносное» возвра-

щение в Россию, а законсервировавшиеся в своей злобе «непримиримые» писатели типа И. Шмелева или М. Ландау-Алданова не уставали посылать проклятия в адрес ненавистных им «Советов».

Более того, позиции того и другого крыла эмиграции все больше расходились. В предвоенные годы одна часть эмигрантов стремилась на Родину, предвидя, что скоро родную землю придется защищать от врага, другая, напротив, надеялась с помощью Гитлера вернуть утраченные поместья и дворцы...

Процесс реэмиграции, естественно, почти полностью прекратился во время второй мировой войны, когда между странами пролегли огненные полосы фронтов. Но именно в эти годы в зарубежье зрели условия для послевоенной волны реэмиграции. Война беспощадно, бескомпромиссно поставила перед каждым выходцем из России вопрос: на чьей ты стороне. Забытые уже, казалось бы, историей белые генералы — Краснов, Шкуро, Штейфон, Доманов, фон Лампе — стали прислужниками фашистских захватчиков на оккупированной территории СССР, прислужниками гитлеровских карателей в других странах. Они увлекли за собой очень небольшую часть эмиграции. Но в то же самое время гораздо больше эмигрантов из России, в том числе бывших князей и бывших генералов, боролись с фашизмом в рядах Сопротивления, демонстративно отказывались от сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами, разнообразными путями стремились внести свою лепту в укрепление антигитлеровской коалиции.

Например, в США активную работу по оказанию помощи СССР и сбору средств для Красной Армии вели бывший заместитель военного министра Временного правительства генерал В. А. Яхонтов и бывший «духовный пастырь» врангелевского воинства митрополит Вениамин. Оба они впоследствии вернулись на Родину. Рассказы об их судьбах вы найдете в этой книге.

В годы второй мировой войны политическое размежевание эмиграции достигло крайней остроты. Именно в эти годы в русском зарубежье поднялась новая волна сочувствия Советской Родине. Необычайно возрос моральный авторитет Советского Союза, принявшего на себя основную тяжесть борьбы с фашизмом. Это не могло не

повлиять даже на те слои эмиграции, которые раньше симпатий к СССР не испытывали. У многих таких людей именно во время войны созрело решение: довольно растрачивать свою жизнь на чужбине.

После войны Советское государство, проявив понимание этих настроений, исходя из принципов гуманности, объявило о возможности восстановления советского гражданства выходцам из царской России и СССР, ранее его утратившим. Десятки тысяч людей обращались в тот период в советские представительства за рубежом, оформляли документы и уезжали в СССР.

Вы прочтете среди других материалов главу из воспоминаний врача Бориса Александровского «На Большую землю». Эмигранты возвращались в Советский Союз как путешественники на материк с отдаленного острова. Эмигрантский остров был, конечно, не в океане, но образ точен — выходцы из России зачастую ощущали себя за рубежом живущими как бы на островках, а то и на утлых суденышках, среди океана чужой жизни.

С этих островков, издалека, с течением времени и, конечно, с ходом событий многое стало видеться иначе. Здесь надо прояснить один важный момент. Иногда «поворот в сторону России» многих эмигрантов склонны объяснять ностальгией. В самом деле, может быть, тех людей, которые долго прожили в эмиграции (людей, значит, как правило, немолодых), повлекла к дверям дипломатических представительств СССР тоска по России, по ее березовым рощам и стареньким церквушкам, по куполам кремлевских соборов в Москве и изысканной красоте Ленинграда. Немало было пролито антисоветских чернил, чтобы доказать ложный тезис: есть, мол, вечная Россия, Россия берез и церквей, а кроме того, отдельно существует какая-то Советская власть, какой-то социализм.

Этот миф культивировался упорно. Но он рухнул. Многие поняли это во время второй мировой войны. Все трезвые и честные эмигранты осознали, что, только став советской, Россия обрела истинное величие, достойное ее нелегкой и славной истории.

И они потянулись в родную страну. И снова, как в двадцатые годы, молчала об этом «свободная» пресса буржуаз-

ных стран. У нее была другая задача: шумно приветствовать каждого перебежчика и дезертира и срочно перекрашивать вышвырнутых огненным валом войны за пределы СССР изменников, полицаев, власовцев, бандеровцев и прочих в «борцов за демократию». Вся эта нечисть под диктовку империалистических спецслужб рассказывала (а «свободная пресса» разносила по всему миру) ужасы о преследовании в СССР интеллигенции. А в Советский Союз возвращались такие люди, как выходец из высшей петербургской аристократии искусствовед Л. Д. Любимов, скульптор С. Эрьзя, поэтесса Мария Вега, певица Гоар Гаспарян, видный экономист В. И. Терещенко и другие. Западная пропаганда вопила о преследовании верующих в СССР, а туда уезжали священники и епископы, сектанты-«некрасовцы», двести с лишним лет назад вынужденные оставить родину из-за преследования царских властей. Западная пресса писала о насильственной русификации в СССР, а в Советскую страну возвращались не только русские, но и украинцы, и литовцы, и белорусы, и эстонцы, и, конечно, армяне, немалое число которых расселилось по миру после геноцида, учиненного турецкой реакцией в конце XIX — начале XX века (после войны в СССР переехало около 250 тысяч армян).

...В реэмиграции послевоенных десятилетий смешались люди разных поколений, оказавшиеся за рубежом по различным причинам. Вот, например, три реэмигранта из Аргентины. И. Ф. Попов попал в волну белой эмиграции совсем юным. Учился в Чехословакии, стал инженером-электриком. В Аргентине занимал высокую должность в крупной фирме. В начале 60-х годов вернулся в СССР, работал в Воронеже. Ныне пенсионер, живет в Подмосковье. Ю. А. Слепухин, подростком угнанный фашистами с оккупированной территории, был так называемым «перемещенным лицом», после скитаний по разным странам обосновался в Аргентине. Вернувшись в СССР, стал писателем. Широко известны его романы «У черты заката», «Джоанна Аларика», «Южный крест» и другие произведения. Живет под Ленинградом. В. А. Ляховчук попал в Аргентину в 1928 году в трехлетнем возрасте, когда туда, спасаясь от нужды, уехала из Западной Украины,

входившей в состав панской Польши, его семья. В СССР вернулся в 1963 году. Живет во Львове, рабочий, активный рабкор.

Размышляя над судьбами людей, принадлежавших к разным классам царской России, или граждан СССР, оказавшихся на чужбине (чаще всего в результате второй мировой войны), о которых рассказано в этой книге, задаешь себе вопрос: что же, в конечном счете, заставило всех их вернуться на Родину? Мы, дышащие родным воздухом и разговаривающие на своих родных языках, как святыню воспринимающие памятники прошлого и все культурное наследие наших народов,— мы менее всего склонны преуменьшать силу естественного национального чувства. Однако сводить побудительные мотивы возвращения только к этому чувству, как это делают наши оппоненты, было бы грубым искажением действительности. Разговорами о живописных церквушках и березках затушевывается главный аспект проблемы, который состоит в том, что наш век — как никакой другой в истории человечества — век политического выбора, обусловленного Великой Октябрьской социалистической революцией. И наши соотечественники, по разным причинам оказавшиеся за рубежом, в том числе и те, что с оружием в руках сражались против Советской власти на фронтах гражданской войны, возвращались в *социалистическое Отечество.* Быть может, кто-то из них вернулся на склоне лет, чтобы умереть на родной земле. Но подавляющее большинство — и среди них писатели и художники, ученые и врачи, рабочие и крестьяне — вернулись в СССР, чтобы работать, воссоединившись со своим народом, строящим новое общество. Они выбрали другой, социально справедливый образ жизни, вкусив жизни буржуазной и нередко отнюдь не бедствуя за рубежом. Морали бизнеса, отчуждающей людей друг от друга, коверкающей человеческие отношения погоней за чистоганом, они предпочли социалистический гуманизм, новый тип человеческих отношений, основанный на взаимопомощи равноправных членов общества, не знающего социальных контрастов и привилегий. Короче, они предпочли социалистический образ жизни. Они сделали выбор.

«Не можем не признать...» (1917—1945)

Своим «советским паспортом» назвал всемирно известный русский писатель Алексей Толстой «Открытое письмо Н. В. Чайковскому», опубликованное в эмиграции 14 апреля 1922 года. Чайковский, непримиримый враг Советской власти, по поручению белоэмигрантов потребовал у писателя объяснений по поводу его сотрудничества в берлинской газете «Накануне».

Эта газета в начале двадцатых годов отражала взгляды тех кругов русской эмиграции, которые начали выступать за признание Советского государства. Типичным представителем этих кругов был, например, бывший член Временного правительства России, а раньше — один из виднейших царских сановников В. Н. Львов. «Мы считаемся с тем,— заявил он в Париже,— что Советская власть представляет собой национальную силу русского народа. Наша политика сводится к признанию того, во-первых, что факты остаются фактами; во-вторых, что советская организация сильна и жизнеспособна». В этих кругах говорили о необходимости примирения с новой властью и о неизбежности совместной работы с большевиками. Впоследствии В. Н. Львов вернулся в СССР.

Сотрудничество Алексея Толстого в газете «Накануне» верхушка белоэмиграции расценила как открытый переход на сторону Советской власти. Вскоре писатель вернулся на Родину.

Вернулись и такие видные деятели, как Ю. Ключников («министр иностранных дел» в белогвардейском «правительстве» Колчака), Ю. Потехин, А. Бобрищев-Пушкин и другие. В Советской России они были назначены на ответственные посты в государственном аппарате.

Много шума наделало признание Советской власти бывшим военным атташе Российской империи во Франции графом А. А. Игнатьевым. Он не был эмигрантом. Весть об Октябрьской революции застала его во Франции. В годы первой мировой войны на его имя во французские банки царским и Временным правительством были переведены десятки миллионов франков для закупки вооружения. Белоэмигрантские деятели (по-своему логично) рассчитывали, что граф Игнатьев, представитель одного из самых аристократических семейств дореволюционной России, предоставит эти деньги для борьбы с большевиками. Но этого не произошло. Убежденный патриот, Игнатьев, несмотря на всевозможные интриги

и провокации, сумел сохранить эти средства для родной страны. До 1937 года А. Игнатьев работал в советском торговом представительстве в Париже. Затем вернулся на Родину. Служил в Красной Армии в звании генерал-лейтенанта. Большой интерес в СССР вызвали его мемуары «50 лет в строю», изданные в Москве в 1952 году.

У «вождей» белой эмиграции, не оставлявших надежд силой изменить положение на Родине, особую тревогу вызвало признание Советской власти и реэмиграция военных, особенно высших офицеров. А таких было немало: бывший командир корпуса генерал А. Секретов, бывший командир дивизии генерал Ю. Гравицкий, многие другие генералы и полковники, сражавшиеся в годы гражданской войны на стороне белых. Теперь они признавали свою былую неправоту и присоединялись к той части русского офицерства, которая сразу перешла на сторону революции. А это была значительная часть офицерского корпуса. Достаточно сказать, что в годы гражданской войны на командных должностях в Красной Армии служило 250 бывших царских генералов. Характерно, что информация о службе в Красной Армии старых офицеров распространялась среди верхушки белоэмиграции строго конфиденциальным порядком. Генерал Врангель издал приказы об увольнении и лишении чинов всех офицеров и генералов, заявивших о признании Советской власти. Генерал Кутепов приказал расстрелять полковника Щеглова за то, что тот захотел уехать в Советскую Россию.

Конечно, применялись и другие методы запугивания — прежде всего клевета о том, что на родине реэмигрантов ждет якобы расправа. Но несмотря на дезинформацию, которую усиленно распространяла и русская белоэмигрантская, и «большая» западная пресса, процесс возвращения на Родину не прекращался. О некоторых реэмигрантах данного периода рассказывается в этой главе. Но обо всех, даже видных деятелях, не говоря уж о ничем не знаменитых людях, которые в общем-то никогда не участвовали в эмигрантской политической игре, конечно, рассказать невозможно. А они составляли, безусловно, большинство тех 180 с лишним тысяч человек, которые вернулись в СССР в 1921—1931 годах.

Фашистская угроза, нависшая над миром, многое изменила в настроениях мировой общественности, в частности в ее отношении к СССР. Здравомыслящие люди не могли не видеть в Советском Союзе полюса противодействия силам зла, войны и варварства. Приходило понимание того, что подрывная деятельность против СССР ослабляет всемирные силы свободы и демократии.

Эти политические сдвиги не в последнюю очередь затронули и российскую эмиграцию, в том числе ее еще недавно активно антисоветские круги. Пройдет совсем немного времени, и в лихую годину войны, в 1942 году, бывший министр иностранных дел Временного правительства России П. Милюков скажет: «Бывают моменты, когда выбор становится обязателен». Многие же из эмигрантов решающий для себя выбор сделали еще раньше — они вернулись в Советский Союз в 20-е и 30-е годы, чтобы внести свой вклад в строительство новой жизни на Родине.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ: «Я отрезаю себя от эмиграции»

Для каждого по-настоящему большого русского художника Октябрьская революция означала второе рождение, явилась своеобразной проверкой искренности и прочности связей русской интеллигенции с подлинной народной жизнью.

Многих русских писателей революция сблизила с народом. На стороне Октября наряду с такими известными писателями, как М. Горький, А. Серафимович, В. Маяковский, еще в дореволюционный период пропагандировавшими социалистические идеи, оказались многие передовые русские писатели — прежде всего А. Блок и В. Брюсов.

Но некоторые русские писатели не приняли победу революционного пролетариата и партии большевиков. Многие из них, в том числе сочувствовавшие в своих книгах тяжкой судьбе трудового народа и ратовавшие за его освобождение, не поняли народного характера новой, Советской власти.

Не принял вначале Октября и известный русский писатель граф Алексей Толстой. Под влиянием буржуазной писательской среды осенью 1918 года он эмигрирует из Советской России. На чужбине он постепенно прозревает, начинает понимать, что писатель, оторвавшийся от своего народа, от Родины, становится творчески бессильным.

Решительный перелом в настроениях Алексея Толстого обозначился в 1921 году. Он начинает сотрудничать в берлинской газете «Накануне», органе сменовеховцев.

Сотрудничество Алексея Толстого в сменовеховской газете вызвало взрыв негодования среди белоэмигрантских «лидеров». По поручению «Исполнительного бюро комитета помощи писателям-эмигрантам» Н. В. Чайковский (бывший глава одного из марионеточных белогвардейских правительств) потребовал в письме из Парижа у Алексея Толстого объяснений. Он спрашивал писателя, следует ли понимать его участие в «Накануне» как открытый переход под флаг «самозваной» власти в России.

В такой обстановке А. Толстой пишет письмо — ответ Чайковскому и публикует его в газете «Накануне» (14 апреля 1922 года). Советская газета «Известия» 25 апреля 1922 года перепечатывает из «Накануне» это письмо (мы перепечатываем его из 10-го тома собрания сочинений А. Н. Толстого, изданного в 1961 году). В том же номере «Известий» в статье «Раскол эмиграции» отмечалось: «Вопль, вырвавшийся из души

одного из крупнейших представителей эмиграции,— великий симптом. Новая Россия завоевала себе признание не только на полях битв, не только в дипломатических битвах... Она одерживает психологические победы, завоевывает наиболее чуткие сердца и проницательные умы».

В одном из писем А. Толстой так объяснил причины, побудившие его написать «Письмо к Чайковскому»: «Русские эмигранты (политические деятели) ведут себя как предатели и лакеи. Клянчат деньги, науськивают, продают, что возможно... России не на кого рассчитывать — только на свои силы. И главная сила России сейчас в том (в России этого не чувствуют, кажется), что Россия прошла через огонь революции, у России горячее дыхание. Это можно почувствовать, лишь сидя здесь, на Западе, где не было потрясения революции, но где жизнь идет на ущерб... Так вот, в обших чертах, причины, заставившие меня написать письмо в «Накануне». Я отрезаю себя от эмиграции». В марте 1922 года Алексей Толстой перестает подписывать свои письма графским титулом.

Конечно, не все бесспорно в «Письме» и статье «Несколько слов перед отъездом» («Накануне», 27 июля 1923 г.), с которыми мы знакомим читателя. Нельзя не видеть в «Письме» моментов, характерных для тогдашних взглядов Алексея Толстого. Однако главное в том, что Алексей Толстой решил для себя самого самый важный вопрос — вопрос о признании революции. За годы пятилетней эмиграции писатель осознал истинный смысл Октябрьской революции, ее значение для настоящего и будущего России. Он указывал в «Письме», что сама жизнь заставила его обратить свой взор к новой, Советской России.

Писатель Алексей Толстой в 1923 году возвращается на Родину, где становится активным участником строительства новой жизни. В 30-е годы он избирается депутатом Верховного Совета СССР, академиком. В годы битвы с фашизмом, Великой Отечественной войны, голос выдающегося писателя-патриота звучал на весь мир.

В интервью «Литературной газете», данном А. Толстым в день своего пятидесятилетия, 10 января 1933 года, он отмечал: «Октябрьская революция как художнику мне дала все. Мой творческий багаж за 10 лет до Октября составлял 4 тома прозы, за 15 последних лет я написал 11 томов наиболее значительных моих произведений».

В январе 1983 года советский народ торжественно отметил столетие со дня рождения А. Толстого, творчество которого вошло в золотой фонд русской и советской литературы.

Открытое письмо Н. В. Чайковскому

Глубокоуважаемый Николай Васильевич, обращаюсь к вам как к председателю Комитета помощи писателям, потребовавшему у меня объяснений моего сотрудничества в «Накануне». С большой охотой даю эти объяснения.

В вашем письме вопрос,— почему я пошел?— непосредственно связан с почти предрешенным обвинением меня. Поэтому, предварительно, я принужден отвести обвинение и затем уже ответить вам.

Газета «Накануне», «заведомо издающаяся на большевистские деньги», как вы пишете, на самом деле издается на деньги частного лица, не имеющего никакой связи с нынешним правительством России. «Накануне» есть газета свободная, редакция состоит из членов группы «Смена вех», сотрудники — из примыкающих, в широком смысле, к общей линии этого направления. Основным условием моего сотрудничества было то, что «Накануне»— не официоз.

Затем: задача газеты «Накануне» не есть,— как вы пишете,— борьба с русской эмиграцией, но есть борьба за русскую государственность. Если в периоде этой борьбы газета борется и будет бороться с теми или иными политическими партиями в эмиграции, то эту борьбу не нужно рассматривать как цель газеты, но как тактику, применяемую во всякой политической борьбе.

Я же, сотрудник этой газеты, вошедший в нее на самых широких началах независимости, политической борьбы не веду, ибо считаю, что писатель, оставляющий свое прямое занятие — художественное творчество — для политической борьбы, поступает неразумно, и для себя и для дела — вредно.

Теперь позвольте мне указать на причины, заставившие меня вступить сотрудником в газету, которая ставит себе целью — укрепление русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета «Накануне» видит ту реальную — единственную в реальном плане — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами.

Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых.

Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти

годы погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.

Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы определяли новый срок, когда большевики должны пасть,— были несомненные признаки их конца. Парижская жизнь начала походить на бред. Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах. Французы нас боялись, как сумасшедших. Строчка телеграммы, по большей части сочиняемой на месте, в редакции, приводила нас в исступление, мы покупали чемоданы, чтобы ехать в вот-вот готовую пасть Москву. Мы были призраками, бродящими по великому городу. От этого постоянного столкновения воспаленной фантазии с реальностью, от этих постоянных сотрясений многие не выдерживали. Мы были просто несчастными существами, оторванными от родины, птицами, спугнутыми с родных гнезд. Быть может, когда мы вернемся в Россию, остававшиеся там начнут считаться с нами в страданиях. Наших было не меньше: мы ели горький хлеб на чужбине.

Затем наступили два события, которые одним подбавили жару в их надеждах на падение большевиков, на других повлияли совсем по-иному. Это были война с Польшей и голод в России.

Я в числе многих, многих других не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72 года или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет тому назад, в точно такой же обстановке, защищал воевода Шеин от польских войск, явившихся также по русскому зову под стены русского города. Всей своей кровью я желал победы красным войскам. Какое противоречие... Я все еще был наполовину в призрачном состоянии, в бреду. Приспело новое испытание: апокалипсические времена русского голода. Россия вымирала. Кто был виноват? Не все ли равно — кто виноват, когда детские трупики сваливаются, как штабели дров у железнодорожных станций, когда едят человечье мясо. Все, все мы, скопом, соборно, извечно виноваты.

Но, разумеется, нашлись непримиримые; они сказали,— голод ужасен, но — с разбойниками, захватившими в России власть, мы не примиримся,— ни вагона хлеба в Россию, где этот вагон лишний день продлит власть большевиков! К счастью, таких было немного...

Наконец, третьим, чрезвычайным событием была перемена внутреннего, затем и внешнего курса русского, большевистского правительства, каковой курс утверждается бытом и законом. Каждому русскому, приезжающему с запада на восток,— в Берлин,— становится ясно еще и нижеследующее:

Представление о России, как о какой-то опустевшей, покрытой могилами, вымершей равнине, где сидят гнездами разбойники-большевики, фантастическое это представление сменяется понемногу более близким к действительности. Россия не вся вымерла и не пропала, 150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, голодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод,— не желает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленска, ни собственной смерти и гибели. Население России совершенно не желает считаться с тем,— угодна или неугодна его линия поведения у себя в России тем или иным политическим группам, живущим вне России.

Теперь представьте, Николай Васильевич, как должен сегодня рассуждать со своею совестью русский эмигрант, например,— я. Ведь рассуждать о судьбах родины и приходить к выводам совести и разума — не преступление. Так вот, мне представились только три пути к одной цели — сохранению и утверждению русской государственности. (Я не говорю — для свержения большевиков, потому что: 1) момент их свержения теперь уже не синоним выздоровления России от тяжкой болезни, 2) никто мне не может указать ту реальную силу, которая могла бы их свергнуть, 3) если бы такая сила нашлась, все же я не уверен — захочет ли население в России свержения большевиков с тем, чтобы их заменили приходящие извне).

Первый путь: собрать армию из иностранцев, придать к ним остатки разбитых белых армий, вторгнуться через польскую и румынскую границы в пределы России и начать воевать с красными. Пойти на такое дело можно, только

сказав себе: кровь убитых и замученных русских людей я беру на свою совесть. В моей совести нет достаточной емкости, чтобы вмещать в себя чужую кровь.

Второй путь: брать большевиков измором, прикармливая, однако, особенно голодающих. Путь этот так же чреват: 1) увеличением смертности в России, 2) уменьшением сопротивляемости России, как государства. Но твердой уверенности именно в том, что большевистское правительство... будет взято измором раньше, чем выморится население в России,— этой уверенности у меня нет.

Третий путь: признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет. (Признать это так же, как признать, что за окном свирепая буря, хотя и хочется, стоя у окна, думать, что — майский день.) Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности. Я выбираю этот третий путь.

Есть еще четвертый путь, даже и не путь, а путишко: недавно приехал из Парижа молодой писатель и прямо с вокзала пришел ко мне. «Ну как,— скоро, видимо, конец,— сказал он мне, и в его заблестевших глазах скользнул знакомый призрачный огонек парижского сумасшествия.— У нас (то есть в Париже) говорят, что скоро большевикам конец». Я стал говорить ему приблизительно о тех же трех путях. Он сморщился, как от дурного запаха.

— С большевиками я не примирюсь никогда.

— А если их признают?

— Герцен же сидел пятнадцать лет за границей. И я буду ждать, когда они падут, но в Россию не вернусь.

Когда же он узнал, что мой фельетон напечатан в «Накануне», он буквально без шапки, оставив у меня в комнате шляпу и трость, выбежал от меня, и я догнал его уже на лестнице, чтобы передать шляпу и трость. Он бежал, как от зараженного чумой.

2*

Четвертый путь, разумеется,— безопасный, чистоплотный, тихий,— но это, к сожалению, в наше время путь устрицы, не человека. Герцен жил не в изгнании, а в мире, а нам — лезть в подвал. Живьем в подвал — нет!

Итак, Николай Васильевич, я выбрал третий путь. Мне говорят: я соглашаюсь с убийцами. Да, не легко мне было встать на этот, третий путь. За большевиками в прошлом террор. Война и террор в прошлом. Чтобы их не было в будущем — это уже зависит от нашей общей воли к тому, чтобы с войной и террором покончить навсегда... Я бы очень хотел, чтобы у власти сидели люди, которым нельзя было бы сказать: вы убили.

Но для того, предположим, чтобы посадить этих незапятнанных людей, нужно опять-таки начать с убийств, с войны, с вымаривания голодом и прочее. Порочный круг. И опять я повторяю: я не могу сказать,— я невинен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен... Все, мы все, скопом, соборно виноваты во всем совершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра.

Что касается желаемой политической жизни в России, то в этом я ровно ничего не понимаю: что лучше для моей родины — учредительное собрание, или король, или что-нибудь иное? Я уверен только в одном, что форма государственной власти в России должна теперь, после четырех лет революции,— вырасти из земли, из самого корня, создаться путем эмпирическим, опытным — и в этом, в опытном выборе и должны сказаться и народная мудрость, и чаяния народа. Но снова начать с прикладывания к русским зияющим ранам абстрактной, выношенной в кабинетах идеи,— невозможно. Слишком много было крови, и опыта, и вивисекции.

Несколько слов перед отъездом

Я уезжаю с семьей на Родину, навсегда. Если здесь, за границей, есть люди, которым я близок,— мои слова — к вам. Я еду на радость? О, нет: России предстоят не

легкие времена. Снова ее охватывает круговая волна ненависти. Враждебный ей мир вооружается резиновыми палками.

Мир этот не сошел с ума. Мир поумнел за последние пять лет. Теперь даже юный спекулянт в роговых очках понимает, что есть три сферы жизни: 1) Америка, где люди ходят по шею в долларах, 2) Европа, где о долларах мечтают в горячечных сновидениях, и 3) Россия, дикая, сумасшедшая страна, где противно здравому смыслу утверждают: «Хорошо то, что истинно»...

События всегда доходят до конца, где их энергия разряжается. Историческая закономерность ужасна, как ползущая гора. Отсюда — обреченность поколений.

Молодой человек в роговых очках не хочет больше лжи. Довольно идеализма! Шиллер мог быть выдуман при керосиновых лампах, при средней скорости передвижения — десять километров в час.

Доллар — вот право на жизнь. В нем не только грубая покупная сила, в нем заря нового идеализма, романтические чудеса. Молодой человек в черепаховых очках разглаживает на столике кафе узкую бумажку доллара, глядит в нее и — открывается ослепительное видение: царь мира, Джиппи[1] Морган. В котелке, надвинутом на глаза, он поднимается по ступеням нью-йоркской биржи. Двадцать тысяч глаз впиваются в его длинное, мертвенное лицо. Сигара у него в левом углу рта. Девизы летят вниз. В шикарных особняках пишут предсмертные записки и стреляются. На заводах рассчитывают рабочих. Жалкий обыватель, скопивший доллар на черный день,— с растрепанной головой бежит менять бумажку.

Назавтра Джиппи Морган в надвинутом на глаза котелке поднимается по ступеням биржи. Длинное лицо его — мертвенно. Сигара — в правом углу рта... Девизы летят вверх. В шикарных особняках (других) пишут предсмертные записки и стреляются. На рынках исчезают продукты. Рабочие безумными глазами глядят на витрины съестных лавок. Жалкий обыватель, разменявший давеча валюту, видит, как денежные знаки гниют у него между пальцами.

---

[1] Джиппи — инициалы Джона Пирпонта Моргана.

Еще не такие чудеса можно видеть, если хорошенько вглядеться в длинную зелененькую бумажку. При внимании можно увидеть толпы людей, пораженных горячкой голода и отчаяния. Пожарища. Летящие стекла великолепных зданий. Дымы выстрелов. Клубки трамвайных проводов. Грузовики, ощетиненные штыками. Красные знамена. Черные знамена... Черный, черный цвет покрывает Европу.

А там (в Москве) на трехгранном обелиске написано: «Кто не работает, тот не ест». Там утверждают, что истина — в справедливости; справедливость в том, чтобы каждый осуществил право на жизнь; право на жизнь — труд. Государство берет на себя эту задачу — провести в жизнь эти принципы. Это волевое устремление проявляется в диктатуре. Диктатура государственной власти действует между крайними точками: военной борьбой и неподвижностью растительной жизни. Идея государства (коллектив) мыслится выше идеи личности. Коллектив понимается как понятие качественное, а не количественное (то есть собрание личностей). Личность свободна, покуда ее воля не направляется на разрушение коллектива. Такова Россия в пятый год революции, через девять лет после начала мировой войны.

В этой суровой картине как будто — противоречие. Цель революции (русской) — совершенное раскрепощение личности от государственных, экономических и социальных зависимостей. А между тем в России личность более подчинена коллективу, чем вне России. Это так. По этому поводу многие негодуют и сердятся. Но разве во время битвы солдат ищет свободы? Он ищет победы. Россия живет сейчас под знаком воли к победе. Она вся в движении, в устремлении, она еще живет исторически, быт еще — текуч, вода еще не отстоялась. Государственная власть — организует и строит. Задачи трудны и грандиозны; Россия раскинута на полмира.

В России личность идет к освобождению через утверждение и создание мощного государства. В Европе (в 1923 г.) личность свободна. Индивидуум осуществляет свою свободу на ступенях биржи, спекулируя девизами. И пусть прекрасные одиночки пишут прекрасные книги

о свободе духа,— молодой человек в черепаховых очках заставит мечтателей есть картофельную шелуху, а завтра — дышать свежим воздухом за неимением пищевых продуктов, а послезавтра — таскать кирпичи на стройку шикарного особняка (где молодой человек, конечно, застрелится, не угадав в один прекрасный день — в каком углу рта сигара у Джиппи Моргана).

Итак, пока что, молодой человек в черепаховых очках покупает резиновую палку: «Нужно решительно покончить с революцией». Вот с ним-то и встречается теперь Россия,— с этим человекоподобным. Борьба не скорая, не легкая. Борьба последышей мира старого с первым поколением нового мира.

Я вижу иронические улыбки. О, не улыбайтесь так поспешно. Подождемте немного, не более года. Ведь события идут так стремительно, как будто мы перелистываем книгу истории. Ведь распавшееся на части государство собрано вновь. Ведь в то время, когда силы европейского рабочего направлены на минимум,— на удержание за собой права не умереть с голоду,— силы русского рабочего направлены на максимум — на возрождение и укрепление своего государства.

Все это так. То, что в России,— несовершенно. Но именно в русской революции загорелась полоса новой зари. Чудовищное время, когда у человека вместо лица — высокая валюта — минует. Мы очнемся когда-нибудь от этого тошного сна. Океаны не могут мгновенно высохнуть, земля не лишится в одни сутки зеленого покрова. Человечество не может сразу безнадежно пропасть. Отпадает умершая ветвь культуры, и рядом расцветает новая. Старая культура под знаком: «Человек человеку — волк»,— дошла до резиновых палок. Она будет бороться и сопротивляться, но эта эпоха гибели будет ужасна, бесчеловечна, как бесчеловечен человекоподобный в страшной бумажной маске.

Я возвращаюсь домой на трудную жизнь. Но победа будет за теми, в ком пафос правды и справедливости,— за Россией, за народами и классами, которые пойдут с ней, поверят в зарю новой жизни. И тогда увидим с порогов мировых своих жилищ успокоенную землю, мирные поля,

волнующиеся хлеба. Птицы будут петь о мире, о покое, о счастье, о благословенном труде на земле, пережившей злые времена.

Октябрьская революция дала мне все

Надо сказать, что раньше, до 1907 года, студентом Технологического института, я литературой интересовался мало, разве, как и вся молодежь, писал тогда отвратные стихи. Основные причины, приведшие меня в литературу, были причинами социальными. Реакция, наступившая после революции 1905 года, сделала культурную жизнь России серой и бессодержательной. Особенно бесцветной была наша студенческая жизнь.

Первая моя книга, неудачный сборник стихов (через год я его уже стыдился), была написана под влиянием Бальмонта, Белого... Через год я выпустил книгу сказок «Сорочьи сказки». В 1908 году вышла книга стихов в издании «Гриф». Четвертой моей книгой была уже проза — «Заволжье» (издание «Шиповник») — памфлет на заволжское дворянство. Этой книгой я прочно вступил в литературу. «Хромой барин», «Чудаки» явились романами этого же заволжского цикла, они были построены на хронике, собранной на Волге, моей родине, где прошло мое детство.

Но заволжские материалы оказались исчерпанными. Тогда наступило для меня какое-то распутье. Это был самый печальный период моей литературной деятельности. Я не владел ни словом, ни стилем... Я жил в замкнутой среде модернистов, в упадочническом кругу писателей. Я не видел жизни, не мог отобразить современности. Единственный человек, выделявшийся из окружающей меня среды, был Блок.

1912—1914 годы были годами распутья. Империалистическая война дала новую арену для моей творческой работы. Я являлся военным корреспондентом «Русских ведомостей». Мои фельетоны были плохи, но зато я на фронте увидел трагедию жизни, трагедию народа. Я вышел из заколдованного круга и увидел все исторические процессы

(правда, тогда еще разобраться в них я не мог). В годы войны впервые пишу пьесы («Касатка», «Нечистая сила» и др.).

В этом переломном периоде застала меня и революция 1917 года. Первая часть трилогии «Хождение по мукам» («Сестры»), написанная мной в 1919 году, по существу начинает новый этап моего творчества. Эта книга — начало понимания и художественного вживания в современность. Можно понимать современность разумом, логикой, чувством. Художник же должен понимать современность, находя художественные образы. И мой путь от «Сестер» к «Петру I»— это путь художественного вживания в нашу эпоху. Вживания диалектического. Я понимаю эпоху в ее движении, а не как неподвижный отрывок времени. И правильно, по-моему, отметил один из критиков, что «Петр I»— это подход к современности с ее глубокого тыла.

Сейчас я заканчиваю вторую книгу «Петра I». Обогащенный огромным опытом работы над историческим романом, я приступлю к третьей заключительной части «Хождения по мукам», которая должна отобразить 1919—1920 годы.

Если бы не было революции, в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко[1]: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику мне дала все. Мой творческий багаж за 10 лет до Октября составлял 4 тома прозы, за 15 последних лет я написал 11 томов наиболее значительных моих произведений.

До 1917 года я не знал, для кого я пишу (годовой тираж моих книг, кстати, был в лучшем случае 3000 экземпляров). Сейчас я чувствую живого читателя, который мне нужен, который обогащает меня и которому нужен я. 25 лет назад я пришел в литературу как к приятному занятию, как к какому-то развлечению. Сейчас я ясно вижу в литературе мощное оружие борьбы про-

---

[1] Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — русский писатель. Его произведения (повесть «На действительной службе», роман «Не герой», рассказы, пьесы) созвучны либерально-народнической теории «малых дел».



Депутат Верховного Совета СССР Алексей Николаевич Толстой направляется на заседание сессии. 1939 г. Фото Д. Чернова.

летариата за мировую культуру, и, поскольку я могу, я даю свои силы этой борьбе. Это живущее во мне сознание является могучим рычагом моего творчества. Я вспоминаю, как в первое свое литературное десятилетие я с трудом находил тему для романа и для рассказа. Теперь я задумываюсь, как мало осталось жить и как мало сил в одной жизни, чтобы справиться с замечательными темами нашей великой эпохи.

О свободе творчества

Моему поколению приходится иногда пересматривать некоторые понятия, которыми нас пеленали в колыбели,— восстанавливать их для новой жизни.

Увлекаемые в перспективы — все более отчетливые и вещественные — новой жизни, мы иногда оборачиваемся на ходу, чтобы оглянуться на выжженную пустыню гуманизма. Нужно ли это? Для нас, по-видимому, это естественно и нужно. Вы, молодое поколение моей родины, лишь перелистаете несколько страниц недавней истории, перелистаете, как справочник.

Казалось бы странным на 18-м году нашей революции начать разговор о свободе... Но, оказывается, есть две свободы, как две сестры — день и ночь, как жизнь и смерть.

Одна — вон впереди, открытая и уверенная. Другая — призраком бредет по выжженной пустыне, между покосившихся деревянных крестов. Мефистофельским противоречием этого мирового кладбища закончилась идеальная любовь к человеку.

Я оборачиваюсь к этой, к ней, некогда вспоившей из кастальского ключа мое творчество. Вы ли это, печальная сестра? Вы невещественны, как мираж.

В свое время вы разбудили во мне поэта. Вы мне нашептывали: «Творчество есть ощущение своей свободы,— высший дар для избранника. Познай самого себя. Будь Демиургом, будь Прометеем».

Лукавые слова. Но я им тогда поверил. У свободы были старые прекрасные рекомендации Конвента. Я верил в то, что самого себя, мою личность можно освободить от

принуждений, налагаемых классовым обществом. Я верил, что моя освобожденная личность, как птица, выпорхнувшая из клетки, устремится к абсолютной свободе. Верил, что в познании самого себя, в углубленном анализе своих идей и ощущений найду откровение для моего творчества.

Вот небольшая цитата:

«Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

Это — из Ленина.

И пусть поэт швырял в лицо буржуазному обществу свое гордое презрение, пусть на крайней грани негодования он отрицал всякое принуждение, всякий общественный строй, кроме анархии,— материальные предпосылки оставались материальными предпосылками и последним идеалистам пришлось покинуть вершины Монмартра, покинуть одинокие кабинеты, обитые от уличного шума пробковым деревом.

Что же, общество — там, внизу рукоплескало нисходящим индивидуалистам, влекущим на своих плечах, как во времена переселения народов, все свое имущество: тюки горьких размышлений о справедливости, узлы с гуманитарными идеями, долженствующими переродить род человеческий, изъеденные червями ларцы с сокровищами культуры?..

Мы знаем, что буржуазное общество осталось равнодушным к кризису индивидуализма. Общество не пожелало протянуть руки к сокровищам творческой души. Разве искусство, взросшее на заоблачных высотах, поможет, хотя бы каким-нибудь намеком, выпутаться из хозяйственного кризиса?

Некоторые европейские и азиатские государства — уже перестроенные по-новому и перестраивающиеся — утверждают изо всех сложных проявлений человеческой души лишь жажду насилия и убийства, изо всех проявлений сложной социальной жизни — завоевательную войну, изо всех философских концепций — право на насилие во имя господства избранных. Фашизм, прикрывающий решетом сверхсовременную стратегию королей индустрии, отказывается от бабушкиных сказок «о мире, как моем представлении»... Какой там индивидуализм, какая личность! Вы — лишь трудолюбивый муравей, таскающий соломинку для расового муравейника. Раса вас обрекла, и государство заставило.

Фашизм решительно отказывается от гуманизма, но лишь потому, что эти формы идеалистической концепции устарели. Фашизм ищет сверхобтекаемых форм лжи, доходчивых до мелкого буржуа эпохи мирового кризиса.

Когда-то мы все плакали над страницами Гюго. Этот мир, заламывающий руки к абсолютной справедливости, мир великолепных бутафорий и неподвижных символов, хорошо учил наши юные сердца большим чувствам. Современный человек с избытком богат впечатлениями, может быть, даже чересчур сильными для нервов. Он ищет реальных разрешений жизненных противоречий. И он вправе требовать от искусства его прямого назначения: организации действительности. Что это означает? Действительность — вот это мгновение жизни — для человека, воспринимающего только это мгновение (а этот человек — ваш читатель),— запутанный хаос противоречий, где одни уже разрешаются, другие еще протягивают свои наметки в туманное будущее. Человек стоит слишком близко к цветной мозаике, он видит лишь пестроту камешков, но не все в целом, не идею картины.

Задача художника — так, как мы ее на данном отрезке исторического времени понимаем,— извлечь из действительности ее типичное, охватимое взором читателя, собрать идеи, факты, противоречия в живой динамический образ и указать ему реальный путь в реальное будущее. Мы хотим, чтобы художник был историком, философом, политиком, организатором жизни и провидцем ее. Учителей

жизни нам не надо. Художник — это строитель духовной жизни человечества.

И тут в первую голову встает вопрос о свободе. Вглядимся в ту, другую сестру, идущую впереди, открыто и уверенно, к неохватимым для взора перспективам пышного расцвета земли, к голубым городам нашего близкого будущего.

Цель всего дела Советского Союза — человек, его свобода, его счастье,— человек,— мыслимый нами в его все более неограниченном развитии.

Наши первые пятилетки начинают с подведения материальной базы — с черной металлургии, с пыли и грохота строительства тяжелой индустрии. Это все — лишь необходимые средства для достижения цели — освобождения личности.

В человеке заложены безграничные источники творчества, иначе бы он не стал человеком. Нужно их освободить и вскрыть. И сделать это, не заламывая рук с мольбою к справедливости, а ставя человека в подходящие общественные и материальные условия.

Подумайте — разве мыслимо было бы осуществить в Советской России то, что осуществлено,— превращение самой отсталой в мире страны в государство, догоняющее передовые индустриальные хозяйства Европы и в некоторых областях и перегнавшее, если бы наш общественный строй не вызвал в широких массах населения творческой силы?

Московский метрополитен построен в три года, потому что семьдесят тысяч юношей и девушек ленинской молодежи, бросив книги и покинув лекции, устремились под землю и в тяжелых условиях проявили героическую выдержку и творческую изобретательность...

Сейчас вы снова увидите этих девушек, изящно одетых, с учебниками, бегущих на лекции. У них, может быть, слишком сильно развиты плечи от работы киркой и беганья с тачками, но золотые пропорции красоты — тоже вещь условная, и меня лично мечтательная арийка за прялкой менее пленяет, чем девушка со значком ГТО и с дерзким взглядом, устремленным на проступающие очертания страны свободы.

Общество Советского Союза озабочено развитием и укреплением каждой личности, потому что творческие

усилия личности увеличивают материальное и духовное накопления общества и помогают ему в его поступательном движении.

Личность связана с обществом, но это не принудительные и ограничительные связи, дающие взамен ущербленной свободы право на безопасное существование. Семьдесят тысяч комсомольцев никто принудительно не посылал в шахты; в том, что они пошли, был акт осознанной необходимости взаимоотношений между личностью и обществом, то есть акт свободы...

Индивидуализм или мнимый отрыв от общества так же нелеп в нашем представлении, как самоубийство. Наше общество не протянет горсти фиников новому Нилу Столпнику. Но общество миллионными толпами выйдет с цветами навстречу тем, кто во имя спасения погибающих товарищей, во имя чести родины проявил безумие личного героизма.

Общество Советского Союза не требует от личности иной платы за безопасность существования, кроме раскрытия ее творческих сил. Личность связана с обществом теми узами, которые только при одном-единственном уклоне личности становятся из заботливых, дружественных и любовных — жесткими: это когда личности приходит на ум несчастная идея абсолютной свободы. Но, разумеется, мало находится таких охотников за призраком печальной девы.

Человек-волк, которого теперь в фашистских хозяйствах пытаются дисциплинировать путем прививки ему условных рефлексов к тому, а не иному цвету волос, человек, дерущийся за свой кусок хлеба, стал у нас анахронизмом. Его сменяет, его сменил человек — строитель своей родины.

И тут попутно хочется мне сказать об одном любопытном выводе. Выясняется, что страх смерти так же в конце концов условен для человека, он так же зависит от тех или иных общественных отношений. Особенно горек страх смерти у того, кто мыслит мир как свое представление: вместе со мною гибнет мир, гаснет солнце, с моим последним вздохом рассыпается в пыль галактическая система. Для индивидуалиста, человека-волка, невыносим ужас перед этой таинственной дверью в черную пустоту, куда влечет его неумолимо тиканье часов. Уверяю вас,— будущие поколения с недоумением будут читать про тех,

кто мог жить, так боясь смерти, как боялся ее великий и бедный Мопассан!

Страх смерти у нового человека вытесняется повышенным ощущением творческой жизни. Связь с обществом, которое биологически бессмертно в своем поступательном движении, дает сознанию хорошую закалку оптимизма, и вопрос о неумолимой двери снимается с повестки дня.

Так мы понимаем свободу человека — строителя бесклассового общества. Героизм становится естественным выражением его повышенного ощущения жизни, творчество — его повседневным делом,— к этому мы идем, к этому мы придем.

Как же быть, спросят меня, с вопросами о высших ценностях, в том числе — с литературой? Здесь, на Западе, можно услышать такие голоса: «Советская литература обречена петь песни о черном металле и фрезерных станках, тащиться, как грач, по борозде за плугом, выковыривая земляных червей!»

Ленин говорил:

«Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

На сегодняшний 1935 год у нас, по поверхностному подсчету, шестьдесят миллионов читателей художественной литературы...

Мы отвергли абсолютные ценности, находящиеся по вертикали за пределами земного притяжения. Но мы не отвергаем высших целей, лежащих по горизонтали, неотрывных от судьбы земли. В перспективе это все же получается дорога ввысь, к созвездию Геркулеса. Наша высшая цель — раскрытие человеческого гения в условиях высшей социальной свободы. Наши цели — в развитии нашей родины, в преодолении всех трудностей, всех бурь, ее расцвет, ее счастье. На сегодня с таким грузом, мне кажется, можно смело пуститься по волнам литературы.

Мы отвергаем натурализм, бескрыло и близоруко шагающий позади советского плуга. Мы — реалисты. Мы стоим перед чудом: рождением нового человека, перековкой

сознания, целеустремлений, обычаев, привычек в огромных человеческих массах. Все это — в движении, в пути, в строительстве. Общество обязывает нас, участников невиданной эпохи, пластически оформить ее идеи и ее человека. Реализм — наше орудие.

С быстротой, которую можно бы назвать чудом, если не искать объяснения в раскрытии творческих сил в широких массах, происходит процесс строительства нашей родины. В три-четыре года возникает новая страна где-нибудь на севере — площадью в Центральную Европу, взрываются аммоналом целые горы; озаряемые призрачными завесами северного сияния, строятся города с вузами, школами, театрами и стадионами; соединяются каналами моря, и континентальная Москва будет морским портом; торопливо и дерзко — как все наше строительство — переделывается природа злаков, чтобы засевать ими мерзлоту крайнего Севера... И прочее, и прочее...

Мне рассказывал начальник одного такого северного края. На добыче золота работал у него на ответственном посту уголовник. За перевыполнение плана был награжден уменьшением срока и деньгами. Пришел к начальнику и угрюмо стал проситься о переводе на другую работу.

«Ты что же — недоволен наградными?»

«Нет, доволен. Не хочу больше там работать».

«Почему?»

«Потому, что двадцать лет жизни я загубил, чтобы добыть это золото. Лазил по водосточным трубам на шестые этажи — воровать, водородом резал несгораемые шкафы, терпел страх и муки. Зачем? Здесь по золоту хожу, как по навозу. Зачем я загубил двадцать лет жизни? С ума сойду. Переведи на другую работу, хоть чернорабочим...»

Это — романтика. И все, о чем я помянул, романтика. Если романтика — повышенное и необычайное состояние жизни, охваченной высокой идеей, если ощущение неограниченного роста личности в советском обществе есть ощущение свободы, если ощущение связи этой личности с обществом есть любовь к родине, то творческое ощущение советского художника, его стиль мы предложим называть крылатым, или романтическим, или, наконец, социалистическим реализмом.

«Быстрее присоединиться к трудящимся России»

3 ноября 1921 года декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) — высшего законодательного органа молодой Советской Республики — была объявлена амнистия лицам, участвовавшим в качестве рядовых солдат в белогвардейских военных организациях. О значении этого документа для судеб многих эмигрантов рассказывается в статье кандидата философских наук А. Афанасьева.

«Советская Россия свыше трех лет боролась с вооруженными врагами рабочих и крестьян и неисчислимыми жертвами и лишениями трудящихся победила их в открытом бою. Во время тяжелой и упорной борьбы Советское Правительство знало, что тысячи русских трудящихся путем обмана и насилия втянуты в борьбу с рабоче-крестьянской властью на стороне царских генералов, помещиков и фабрикантов,— отмечалось в декрете.— Этих обманутых людей вводили в бой за чужое им дело, и, когда им пришлось очутиться на чужбине, их бросили на произвол судьбы. Они оказались сейчас выброшенными из родных сел, деревень и станиц. Жестокая судьба разбросала их по различным уголкам мира. Постоянные лишения, систематическое издевательство русских и зарубежных белогвардейцев, каторжный труд, болезни и смерть на чужбине — вот удел тех, кто поддался провокации врагов рабочих и крестьян... Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе этих рабочих и крестьян, которые, поняв свои заблуждения, стремятся вернуться на родину, чтобы здесь своим трудом искупить свои ошибки и помочь восстановлению народного хозяйства».

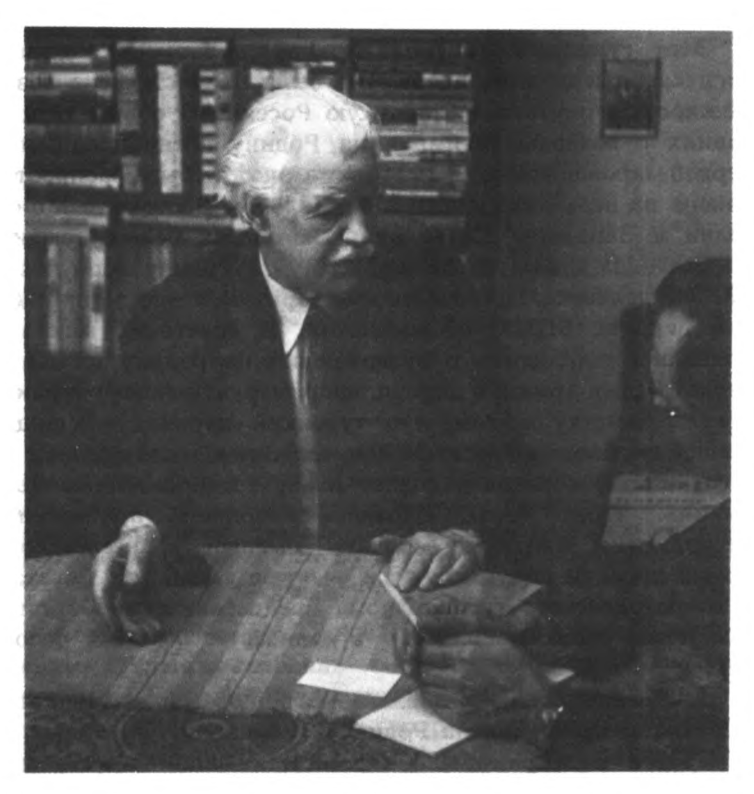
Этот гуманный документ открыл дорогу на Родину десяткам тысяч эмигрантов. Им была предоставлена возможность вернуться в Советскую Россию на общих основаниях с возвращающимися на Родину военнопленными первой мировой войны. В 1924 году амнистия была распространена на всех находящихся на Дальнем Востоке, в Монголии и Западном Китае рядовых солдат белых армий.

Всего за один только 1921 год на Родину вернулось 121 843 человека. Причем многие вернулись еще до принятия декрета ВЦИК об амнистии. В советских газетах появились сообщения о возвращении на родину бывших солдат белых армий. 6 апреля, например, «Правда» опубликовала заметку о том, что турецкий пароход «Решид-Паша» доставил в Одессу 3800 пассажиров, в подавляющем большинстве казаков и солдат из армий Врангеля и Деникина. Через месяц «Правда» сообщала: прибывшие несколькими партиями солдаты бывшей врангелевской армии просили допустить их к участию в выборах Совета. Пленум одесского губисполкома предоставил избирательное право бывшим солдатам в количестве 7 тысяч человек.

В странах поселения белой эмиграции стали возникать «Союзы возвращения на Родину» (Совнарод).

Так, в Болгарии было зарегистрировано 65 местных групп союза — организация издавала газету, распространяла листовки, через нее советский Красный Крест осуществлял всю работу по репатриации.

Движение возвращения на Родину захватило не только рядовых солдат, но и многих офицеров и генералов разбитых белых армий. Вернулись в Советскую Россию бывшие командиры корпусов генералы Я. Слащев и А. Секретов, бывший начальник дивизии генерал Ю. Гравицкий и др. Огромный резонанс среди белой эмиграции получила «Декларация чинов бывших белых армий к войскам белых армий», подписанная генералами А. Секретовым, Ю. Гравицким, И. Клочковым, Е. Зелениным, девятнадцатью полковниками и другими (принята в 1923 г.). Они заявили, что отныне в качестве российского правительства признают нынешнее правительство Российской Советской Федеративной Республики и готовы перейти на службу



«Я вовремя одумался»,— говорит инженер Влас Семенович Гвоздев, бывший белый офицер. Он был в эмиграции недолго (1920—1922). Снимок сделан в Свердловске в 1980 г. Фото Д. Ухтомского.

в Российскую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РРККА). В декларации, в частности, заявлялось:

«Совет Народных Комиссаров, ставший на место политических болтунов и предателей типа Керенского, Савинкова и других, твердо начал создавать новую жизнь.

Медленно, но верно, в тяжелой обстановке, осложненной бывшей гражданской войной и хищническим стремлением международных капиталистов, Советская власть ведет русский народ по пути экономического возрождения.

Спокойно и уверенно выступают представители Республики на международном поприще в Генуе, Гааге и Лозанне,

защищая интересы угнетенных, слабых и завоевывая почетное место новой России среди других народов.

Ныне власть РСФСР в твердых, крепких руках. Создана мощная Р.Р.К.К.А., восстанавливается транспорт, а борьба со стихийными бедствиями — эпидемиями и голодом — уже почти завершена благополучным концом.

Мы же, очутившиеся в стане белых с самого начала бессмысленной гражданской войны, сразу оторвались от нашей Родины, потеряли всякую связь с нашим народом и, толкаемые в новые авантюры, невольно творили позорное дело измены против родного народа.

Наступил третий год с тех пор, как последний выстрел гражданской братоубийственной войны заглох в Крыму. Мы за границей — бесправные беженцы; в России идет постройка новой государственности.

За этот период уже изжиты непосредственные впечатления гражданской войны, и русский народ первый протягивает руку прощения эмигрантам, открыв широкую дорогу на Родину нам, вольно или невольно обманутым сынам, которые искренне осознали свои ошибки и честно готовы послужить новой России.

Солдаты, казаки и офицеры белых армий!

Мы, старые ваши начальники и соратники по прежней службе в белой армии, призываем вас всех честно и открыто порвать с вождями белой идеологии и, признав существующее на родине Правительство СССР, смело ехать на Родину.

Идя навстречу назревшим стремлениям офицерской массы за границей, ВЦИК выделил особую Комиссию, так называемый Малый ВЦИК, для ускорения делопроизводства по огромному количеству анкет, поступивших в Москву.

Ориентирующиеся на кого угодно, только не на интересы родины, Врангели, Кутеповы и прочие вожди белого движения ищут только случая, чтобы послать вас вновь творить каиново дело против Родины в союзе с врагами России — на новую авантюру, чтобы восстановить свое прежнее положение и власть помещиков и капиталистов.

В это же время Советская власть при полной поддержке всего народа, шаг за шагом, отвоевывает достойное положение нашей родины у международных хищников и

укрепляет незыблемость границ территории Российского государства.

Боевые наши соратники!

Каждый лишний день нашего прозябания за границей отрывает нас от Родины и дает повод международным авантюристам строить свои предательские авантюры на наших головах. Мы должны решительно отмежеваться от этого низкого и подлого предательства нашей Родины и призываем всякого, у кого не заглохло чувство любви к отчизне, быстрее присоединиться к трудящимся России.

Пусть в братском слиянии зарубежных изгнанников с Родиной враги России увидят грозный симптом подъема величия нашей Родины, и в этом залог процветания народов, населяющих огромные пространства нашей Родины.

Ни одного солдата, казака и офицера на новую авантюру против России!»

В ответ на эту «Декларацию» появились другие заявления и призывы. Смысл их сводится к тому же: признание Советской власти, признание своих заблуждений, стремление вернуться в Советскую Россию, чтобы принять участие в строительстве новой жизни. В то время офицерская секция «Совнарода» в Болгарии приняла и отправила на рассмотрение ВЦИК две тысячи анкет и заявлений офицеров с просьбой об амнистии.

Группы эмигрантов из Румынии, Югославии, Греции, Италии и других стран приезжали в те годы в Болгарию, надеясь отсюда вернуться на Родину. На некоторое время репатриационный лагерь был открыт в Чехословакии. Важное значение имела позиция, занятая Общеказачьим земледельческим союзом. В газете «Известия» 15 декабря 1922 года было опубликовано письмо на имя председателя ВЦИК М. И. Калинина от делегатов съезда Общеказачьего земледельческого союза, состоявшегося в Софии.

«Зарубежное трудовое казачество,— говорилось в письме,— давно осознав свою роль в прошлом, как простого орудия в руках всероссийской контрреволюции, и твердо решив покончить с таким положением, признает себя гражданином РСФСР и подчиняется безоговорочно единственно законной власти России — Советской. Эта власть осуществляет национальную задачу собирания воедино го-

сударства Российского и охрану его интересов в международных отношениях и не склоняет в то же время интернационального знамени освобождения трудящихся масс всего мира от рабства и эксплуатации, привлекая тем к себе горячую любовь и симпатии народных низов стран всего мира и поднимая тем самым престиж русского имени на небывалую до сих пор высоту.

Считая, что дальнейшее пребывание вне пределов России будет давать возможность реакционным силам использовать вопреки воле и желанию казачества наличие казачьих масс для авантюристических, преступных попыток борьбы с Советской Россией, съезд полагает гражданским и политическим долгом зарубежного казачества приступить к осуществлению мысли о возвращении на Родину.

Своей решимостью вернуться в пределы Советской России казачество окончательно порывает с белогвардейщиной и сознательно наносит решительный удар врангелевской реакции, увлекая из ее вооруженных рядов за собою под знамена Рабоче-Крестьянской Красной Армии РСФСР кадры бывшей белой армии».

Тысячи людей возвратились на родину с помощью «Совнарода» в 1922—1923 гг. За границу Советской России поступали сообщения от реэмигрантов. Они разоблачали ложь, провокационные слухи, которыми была наполнена буржуазная и белоэмигрантская пресса.

«Нравственным долгом перед Родиной,— говорилось в одном из писем в редакцию сменовеховской газеты «Накануне»,— считаем восстановление правды... мы, нижеподписавшиеся, собственноручно на подлиннике этого опровержения от имени 3360 лиц (в том числе 161 офицера, чиновника и священника), прибывших из Болгарии, Сербии, Турции и Греции, категорически заявляем, что не только никто не расстрелян, но Советская власть встретила и приняла нас с братским радушием, без тени упрека за ошибки и заблуждения прошлого».

«Едемте в Россию!»

В газете «Русский голос», и ныне издающейся в Нью-Йорке прогрессивной русской общественностью, 10 января 1923 года было опубликовано письмо Ленина «Русской колонии в Северной Америке». Письмо было адресовано той части русской колонии в США, которая группировалась вокруг организаций, стоявших на позициях дружественного отношения к молодой Советской республике,— русской секции Общества друзей Советской России, русских секций профсоюзов США, Общества технической помощи Советской России и др. Владимир Ильич, узнав о «неправильном взгляде на новую экономическую политику, существующем среди части русской колонии в Северной Америке», подробно объяснил американским соотечественникам смысл и сущность нэпа, благодарил их за помощь новой России.

Необходимо отметить, что абсолютное большинство эмигрантов, покинувших Россию до 1917 года в поисках лучшей доли и обосновавшихся в Америке (в 1920 году в США проживало 3270 тысяч выходцев из России), с симпатией отнеслось к победе Октябрьской революции. Это хорошо показал в написанной в 1922 году работе «Русский иммигрант» американский ученый Дж. Дэвис.

Многие из них захотели принять непосредственное участие в создании новой жизни на родной земле, восстановлении разрушенного первой мировой и гражданской войнами народного хозяйства. В 1920 году среди российских эмигрантов в США и Канаде началось движение за переселение в Советскую Россию.

Только за последние месяцы 1920 года и первые месяцы 1921 года через один порт Либаву (ныне город Лиепая) прошло свыше 16 тысяч реэмигрантов. Декретом Совета Народных Комиссаров от 22 августа 1921 года был определен порядок вступления этой категории реэмигрантов в советское гражданство.

Многие группы эмигрантов из России обращались к Советскому правительству с просьбами разрешить им вернуться на Родину. «Трудовые и беднейшие элементы колонии,— говорилось в письме российских иммигрантов, проживающих в Лос-Анджелесе,— повсеместно являются самыми искренними друзьями Советской России, бедствие которой в

настоящее время заставило сплотиться для помощи голодающим. Мы верим и ждем, что Советское правительство поможет нам осуществить нашу мечту о возврате на родную землю для коммунистического строительства».

По многим городам Америки распространялось воззвание «Едемте в Россию!» Общества технической помощи Советской России. С октября 1922 года по август 1925 года специальная комиссия Совета Труда и Обороны дала разрешение на въезд в СССР 21 группе (2689 человек) для работы в сельском хозяйстве и 11 группам рабочих (3249 человек) — для работы в промышленности. В персональном порядке за этот период комиссия СТО выдала разрешение на въезд 1773 реэмигрантам.

Об истории создания одной трудовой коммуны реэмигрантов из США рассказывается в статье кандидата исторических наук И. Беленкина.

Несколько страниц ирской хроники

Ноябрь 1917 года. Из уездного города Кирсанова, что на Тамбовщине, тайно уехала бывшая владелица крупного Ирского имения, расположенного в 17 верстах от города, княгиня Оболенская-Ретерн. С ней отбыл и ее сын Сергей. Они бежали от революции...

Равнодушными остались к бегству Оболенских крестьяне прилегающих к имению деревень. Княгиня хозяйничать не любила, и в своем имении, раскинутом по живописным берегам реки Иры, появлялась редко. Беглых князей стали потихоньку забывать, но они, как мы увидим, не забывали о своем тамбовском имении...

1918 год. В бывшем имении Оболенской организован совхоз «Ирский». В его пользование передано 3000 десятин пахотной земли, 2,5 десятины фруктового сада, 15 хозяйственных построек с жилым домом, а также оставшийся в имении скот и сельскохозяйственный инвентарь.

История этого совхоза трагически коротка. Она завершилась в 1921 году нападением кулацкой банды Антонова. Хозяйство было полностью разгромлено, большинство рабочих зверски убито. Но никто на Тамбовщине не знал тогда, что параллельно с этими страшными событиями в далекой Америке происходят другие, имеющие прямое отношение к бывшему имению Оболенской.

Январь 1919 года. В Нью-Йорке, у одного из домов на Сороковой улице, необычное оживление. Сотни человек, скромно одетых, запрудили тротуар, вестибюль и лестницу

до третьего этажа. Там на двери поблескивала новенькая металлическая пластинка с надписью: «Бюро русского советского представительства».

Эти люди были русскими иммигрантами. Они оставили родину в разное время, одни по политическим соображениям, другие — спасаясь от беспросветной нужды (большинство), третьи — надеясь поймать за океаном капризную госпожу Удачу. Но теперь, когда в России произошла революция, их взоры вновь обратились к Родине.

Людвиг Карлович Мартенс, в прошлом студент Петербургского технологического института, соратник В. И. Ленина, с 1916 года находился в политической эмиграции в США. В январе 1919 года он был назначен Советским правительством его официальным представителем. Настойчиво добивался признания правительством США молодого Советского государства. В день открытия представительства сотни русских людей, истосковавшихся по далекой Родине, пришли приветствовать ее первого посла и просить у него разрешения вернуться в Россию.

Летом 1919 года «красный посол» собрал представителей русской эмиграции, большей частью рабочих, в конференц-



Металлурги из Питтсбурга — русские иммигранты. Снимок сделан американским фоторепортером Хайном примерно в 1908 г.

зале миссии. Собравшиеся взволнованно рассматривали висевший над столом президиума советский флаг. Они увидели его впервые. Полномочный представитель новой России сказал:

«В течение короткого времени моей деятельности в Америке в качестве представителя Советского правительства я успел убедиться в том, что среди русских людей в Америке существует огромное желание оказать помощь Советской России теми знаниями и тем умением, которые вы здесь обрели».

Этим словам дружно аплодировали.

Далее Мартенс советовал русским эмигрантам изучать технику, повышать свою квалификацию, так как молодая советская промышленность и разрушенное сельское хозяйство крайне нуждались в высококвалифицированных работниках. На том же собрании было решено создать Общество технической помощи Советской России (ОТПСР). Это решение встретило широкий отклик среди русской колонии в США, Канаде, а вскоре — и в Австралии. Только в Нью-Йорке более двух тысяч человек сразу же записались в Общество. Кроме русских и украинцев, в него вступили и рабочие других национальностей, выходцы из разных стран Европы.

Недоброжелательные действия американских властей по отношению к Советской миссии, явное нежелание правительства США завязывать какие-либо отношения с Советской Россией вынудили ее правительство ликвидировать миссию и отозвать своего представителя. В январе 1921 года Л. К. Мартенс покинул Соединенные Штаты. В нью-йоркском порту на его проводы собралось более пяти тысяч человек. Но начатое им дело продолжалось. Общество технической помощи Советской России имело отделения в 75 городах Нового Света и насчитывало около 10 тысяч членов.

А в России подходила к концу гражданская война. В последние месяцы 1920 года тысячи выходцев из России направились из стран Америки и Западной Европы в Советскую республику, двинулись стихийно, как правило, не спрашивая разрешения советских властей. Для разоренной страны это представляло немалые трудности. И тогда

В. И. Ленин поставил вопрос об организованной реэмиграции в Россию. Об этом он говорил с приехавшим в Москву Л. К. Мартенсом.

1921 год, 1 мая, Международный пролетарский праздник. Карп Григорьевич Богданов, рабочий-эмигрант; Кузьма Алексеевич Хохряков, большевик, активный участник первой русской революции 1905—1907 годов, с того же времени — политический эмигрант; Петр Кузьмич Дмитрук, крестьянин-бедняк с Волыни, а в американском штате Нью-Гэмпшир — рабочий кирпичного завода; Иван Алексеевич Найдюк, крестьянин-бедняк из Гродненской губернии, а в США — рабочий на ферме, тракторист; Михаил Михайлович Кардаш и его земляк Федор Николаевич Ручко, крестьяне из Холмской губернии, потом — рабочие на одном из заводов Детройта,— вот далеко не полный список тех, кто в тот праздничный день собрался в квартирке Петра Александровича Скорупского, сапожника с Волыни, а в эмиграции — гладильщика нью-йоркской прачечной. Эти люди образовали организационный Комитет Первой сельскохозяйственной артели ОТПСР. Обсуждали возможности возвращения на родину и написали в Москву, в ВСНХ: «...Мы, хлеборобы, знающие практически ведение сельского хозяйства по американской системе, организовались в артель на коммунистических началах для работы в Советской России. Число членов, постепенно растущее, сегодня состоит из 50 человек, с капиталом на общую покупку машин в 10 000 долларов. Имеются специалисты: огородники, птицеводы, свиноводы, по культуре картофеля и зерновых злаков. Имеем своих плотников, слесарей, механиков и кузнецов. Стремимся скорее переехать в Россию и заняться земледелием...»

Письмо ушло в Россию, а коммунары, как отныне стали называть себя члены учрежденной артели, продолжали деятельную подготовку к отъезду. Они занимались на «агрикультурных курсах» и в тракторной школе, вносили свои скудные сбережения на приобретение сельскохозяйственных орудий и инвентаря.

Июль 1921 года. В Нью-Йорке работал I национальный съезд Обществ технической помощи Советской России, на котором они объединились в единую организацию —



Петр Скорупский, один из организаторов возвращения в Советскую Россию среди российских иммигрантов. Снимок сделан в 1916 г. в Нью-Йорке.

Центральное Бюро
ОБЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ.

Central Bureau
of the
SOCIETY FOR TECHNICAL AID
TO SOVIET RUSSIA



ЧЛЕНСКАЯ КНИЖКА.
Membership Card

Имя (Name) Max Bet

Адрес (Address) General Del
Switzer, W. Va

Вступил (Admitted) 7 February 1922

Отдел гор. Member @ large

Секретарь ....
Secretary

Членская книжка Общества технической помощи Советской России.

ОТПСР Соединенных Штатов и Канады. Съезд послал приветственную телеграмму Советскому правительству. Вскоре пришел ответ:

«Получив сообщение со слов нью-йоркского «Голоса России» о Вашем съезде и его приветственную телеграмму Советской России, я, от имени Совета Народных Комиссаров, выражаю Вам нашу горячую благодарность. От себя лично прибавлю — техническая помощь Соединенных Штатов и Канады нам крайне нужна... Необходимо считаться с теми трудностями, которые в России есть, которые надо преодолевать, затруднения продовольственные и другие. Люди, едущие в Россию, должны быть к этому готовы...

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».

8 марта 1922 года. Последнее собрание коммунаров на американской земле. Последнее напоминание собравшимся не ждать на родине никаких молочных рек с кисельными берегами... Последовала перекличка членов артели. Заслушаны доклады машинной, продовольственной и финансовой комиссий. Утверждена дружина самозащиты. Отобрана группа санитаров. В заключение принимается Устав «Первой с.-х. коммуны ОТПСР Соединенных Штатов и Канады». Наконец, член Исполнительного Комитета отъезжающей части коммунаров П. А. Скорупский объявил, что в дальнюю дорогу все готово...

На борту зафрахтованного парохода пятьдесят коммунаров и членов их семей везли в Советскую Россию драгоценный груз: легковую автомашину, три трактора, новейшие сельскохозяйственные орудия, запасные части к ним, горючее, полное оборудование механической мастерской, разнообразные инструменты, хозяйственную утварь, продовольствие, медикаменты, одежду, палатки, полевую кухню и т. д. На корабле все жили ожиданием встречи с Россией.

Апрель 1922 года. Бывшее имение княгини Оболенской — развалины совхоза «Ирский». Всего несколько рабочих осталось в живых после бандитского налета антоновцев. Во всем хозяйстве — шесть истощенных лоша-



Семьи иммигрантов Ручко и Кардаги перед отъездом в СССР. Снимок сделан в Детройте, США, в 1922 г.



Из далекой Австралии возвращаются на родную землю эти люди, чтобы внести свой вклад в создание новой, социалистической России.

дей и семнадцать коров. Наверное, странно было увидеть среди этого разорения легковой открытый автомобиль, в котором приехали первые коммунары из Америки, слухи о которых уже ходили. Но для местных крестьян уж очень необычен был внешний вид приехавших: все гладко выбритые, в фетровых шляпах, в костюмах, при галстуках.

— Вот так коммунары! И они на земле работать будут? Что такие господа могут?

А коммунары, не теряя времени, стали деловито знакомиться с местностью, с остатками совхозного хозяйства. Они раскинули палатки, установили походную кухню... Вечером состоялось первое собрание на родной земле. Приняли новое название: «Первая сельскохозяйственная Ирская коммуна из Америки». Избрали Совет коммуны во главе с К. Г. Богдановым. Решено было начать с ремонта построек. Распределили обязанности каждого трудоспособного коммунара. В течение следующих дней в коммуну со станции подходили тщательно упакованные грузы. Наконец, из Кирсанова «своим ходом» пришли три трактора «Фордзон». Это зрелище окончательно потрясло крестьян.

Первые месяцы были нелегкими. Наряду с полевыми работами шли строительные — восстанавливались разрушенные бандитами помещения, закладывались новые — столовая, мастерские, клуб, детский сад и ясли. Пахали и сеяли не только для себя, но и для соседних крестьян. Открылись курсы механизаторов для местной молодежи. Прибывали новые партии коммунаров. Особенно большая группа прибыла в коммуну в 1924 году из Австралии. Ее возглавлял Федор Митрофанович Баскаков, способный организатор. Он сменил заболевшего К. Г. Богданова на посту председателя Совета Ирской коммуны. Но не будем забегать вперед...

Осень 1922 года. Снят первый урожай. Недоверие окрестного населения к «американцам» уже рассеялось. Коммунары оказались людьми трудолюбивыми, приветливыми, готовыми оказать хлеборобам соседних деревень любую помощь, дать грамотный технический или агрономический совет. Ясли и детский сад — неслыханные в

тогдашней деревне новшества — поражали крестьян. Все дети коммунаров учились, многие готовились в недалеком будущем поступить в техникум или даже в институт. Да и оказалось к тому же, что заноситься перед крестьянами оснований у коммунаров не было —«американцы» не скрывали, сколько горя и каторжного, потогонного труда пришлось им хлебнуть на чужбине.

Октябрь 1922 года. Член Президиума ВСНХ Л. К. Мартенс докладывал в Совет Труда и Обороны: «...С конца прошлого года по настоящее время в пределы РСФСР въехали следующие группы, организованные ОТПСР: 7 сельскохозяйственных коммун в Тамбовскую губернию, на Украину и в Донскую область».

В. И. Ленин пристально следил за деятельностью эмигрантских коммун. 20 октября 1922 года он писал руководству Общества технической помощи Советской России:

«Дорогие товарищи!

В наших газетах появились чрезвычайно благоприятные сведения относительно работ членов Общества в советских хозяйствах Кирсановского уезда... Несмотря на гигантские трудности и, в особенности, ввиду разорения во время гражданской войны, вы достигли успехов, которые следует признать исключительными...

Я вхожу с ходатайством в Президиум ВЦИКа о признании наиболее выдающихся хозяйств образцовыми и об оказании им специальной и экстраординарной помощи, необходимой для благоприятного развития их работы...»

11 ноября 1922 года Президиум ВЦИК признал Первую Ирскую сельскохозяйственную коммуну из Америки образцовой.

1924 год. Коммуна экономически окрепла, выросла численно, в том числе и за счет окрестных крестьян. Когда пришла трагическая весть о смерти В. И. Ленина, коммунары на траурном собрании приняли резолюцию: «Мы выносим свое твердое решение, что начатое товарищем Лениным дело не бросим никогда...» Через несколько дней коммунары обратились к советским властям с просьбой присвоить их коммуне имя своего вождя и учителя. Согласие было дано.

1931 год. Семидесятипятилетний Бернард Шоу готовился к очередному путешествию. Его знакомые из самых различных кругов общества заволновались. Шоу вознамерился посетить Советский Союз. Прогрессивно настроенные англичане одобряли предстоящую поездку, реакционеры негодовали. Особенно возмущался кружок, группировавшийся вокруг четы Асторов. В их лондонском доме велись бесконечные разговоры о «зверствах большевиков». Среди «веских» аргументов были и высказывания их друга Сергея Оболенского. Да, того самого Оболенского, который вместе с матерью бежал из Кирсанова вскоре после Октябрьской революции. В доме Асторов любили слушать его рассказы о «варварском разрушении большевиками» родового Ирского имения, о полном невежестве и лишениях нынешних его хозяев — коммунаров, которых якобы «обманом выманили» из Америки. Но Бернард Шоу упрямо твердил: «Хочу сам увидеть...» В поездку с писателем увязались и Асторы.

28 июля 1931 года в коммуне имени Ленина принимали почетного гостя — Бернарда Шоу. Его интересовало все, вопросы писателя были глубоки и обстоятельны, впрочем, как и ответы коммунаров. От знаменитого драматурга ничего не скрывали. Общение было нетрудным — большинство коммунаров не забыло английский язык. Их привлекла не только популярность Шоу, но и его искренность, доброжелательность.

Приезд гостей не нарушил трудового процесса. Гости в сопровождении председателя коммуны осмотрели угодья, многочисленные службы, механическую мастерскую, столовую, квартиры коммунаров. Шоу внимательно слушал пояснения и недовольно косился на леди Астор. Не желая слушать «большевистского комиссара», знатная дама стремилась сама докопаться «до истины».

Катю Гонтарь родители привезли из Америки за четыре года до ее «беседы» с леди Астор.

— Девочка, где тебе лучше — здесь или в Америке?— спросила Катю англичанка.

Ответ был решительным:

— Конечно, здесь! Жизнь в Америке я слишком хорошо помню. Там было голодно и мрачно. А здесь я учусь, ра-

ботаю и обязательно буду через два-три года в институте.

В механической мастерской леди Астор с надеждой обратилась к эмигранту из Англии слесарю Бару:

— Вы счастливы здесь?

Бар насмешливо ответил:

— Если бы я был несчастлив, то вернулся бы к вам — туда, где поют «Боже, храни короля»...

— Мне кажется, я помолодел по крайней мере на двадцать лет!— сказал писатель на прощанье.— Я счастлив, что посетил страну надежды!

Дальнейшая история хозяйства на реке Ира внешне не особенно отличается от других подобного же типа 292 кооперативных сельскохозяйственных объединений нынешней Тамбовской области. Вскоре после пребывания Бернарда Шоу в коммуне имени В. И. Ленина ее посетила американская делегация. Она оставила отзыв, в котором, в частности, говорится: «Эта коммуна является примером, показывающим, что произойдет в России в следующем десятилетии. Советский Союз представляет величайший опыт в коллективизации сельского хозяйства в мире...»

1930-е годы ознаменованы для коммуны новыми успехами в хозяйственном и культурном строительстве. Коммуна богатела. Ее лучшие люди стали известны всей стране. В 1936 году трое коммунаров были награждены орденами Ленина. Одна из награжденных, телятница Марта Кригер, участвовала в работе VIII Чрезвычайного съезда Советов, на котором в декабре 1936 года принималась новая советская Конституция. О своей работе, о своей судьбе она говорила с трибуны съезда.

В 1938 году коммуна стала колхозом. В следующем году колхоз имени В. И. Ленина участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и был удостоен Большой Золотой медали. В 1940 году колхоз был награжден орденом «Знак Почета».

Радость и горе делили бывшие коммунары, теперь колхозники, со всем советским народом. В трудные годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли многие первые коммунары и их дети. Далеко не все вернулись домой. Погиб один из основателей ком-



Председатель колхоза «Первое мая» Ивано-Франковской области дважды Герой Социалистического Труда Юстин Тодорович Лычук. В двадцатые годы, спасаясь от нищеты, он покинул родной край, находившийся тогда под властью панской Польши. Несколько лет батрачил у канадских фермеров. После воссоединения Западной Украины с матерью-родиной он вернулся домой.

муны — Федор Ручко, погиб Кригер. Всех не перечислишь.

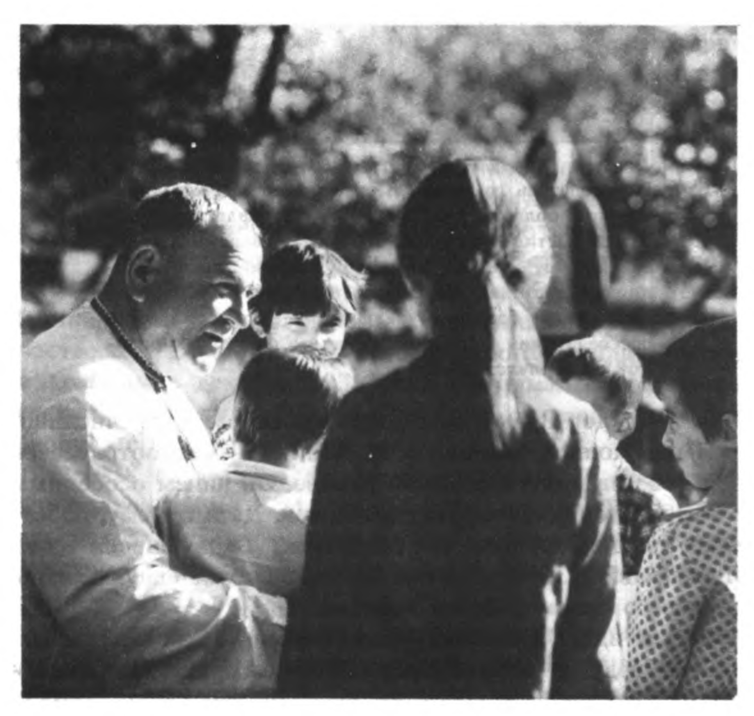
Ныне колхоз имени В. И. Ленина — многоотраслевое хозяйство на индустриальной основе. Он ничем особенным не выделяется среди других колхозов. Да и почему, собственно, он должен чем-то отличаться? Вернувшиеся из-за рубежа давно уже полностью вошли в окружающую жизнь, слились со своим родным народом.

Время идет, и первых коммунаров уже нет в живых. В 1961 году в весьма преклонном возрасте скончался Кузьма Хохряков — участник русской революции 1905—1907 гг., политический эмигрант в США, коммунар, ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Почти на

двадцать лет пережил его Иван Найдюк, бывший некогда рабочим на американской ферме.

В семидесятые годы мне довелось встречаться с Петром Александровичем Скорупским — тем самым, в чьей нью-йоркской квартирке собрался когда-то организационный комитет Ирской коммуны. Последние годы он жил в Тамбове. Несмотря на почтенный возраст, Петр Александрович сохранял ясный, живой ум и хорошую память. Скончался он в 1979 году...

Да, время идет. Уже и дети первых коммунаров в большинстве своем — пенсионеры. Ныне слово за внуками. Они окончили свою сельскую школу-десятилетку, ученики всеми уважаемой старой учительницы Екатерины Васильевны Гонтарь-Шишковой, той самой, с которой беседовала когда-то леди Астор... Два десятка внуков коммунаров



Дети колхозников — первейшая забота председателя. Фото Д. Ухтомского.

получили высшее образование и продолжают трудиться в своем родном колхозе. Множатся трудовые подвиги колхозников. Вся область гордится телятницей колхоза, Героем Социалистического Труда, ученицей Марты Кригер, Матреной Григорьевной Можаровой...

Таковы немногие страницы из славной хроники ордена «Знак Почета» колхоза имени В. И. Ленина, что на речке Ира, на Тамбовщине.

АЛЕКСАНДР КУПРИН: «...Тягостная оторванность»

18 июня 1937 года в газете «Известия» были опубликованы краткие «Отрывки воспоминаний» выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна, незадолго до того вернувшегося на Родину после 17-летнего добровольного изгнания. Куприн писал о том, что он с болью вспоминает о своем пребывании в эмиграции. «Должен сказать только,— продолжал он,— что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности».

В этих чувствах признавались практически все писатели, эмигрировавшие после Октябрьской революции, признавались и в печати, и в частной переписке, и в дневниках, ставших ныне достоянием читающей публики. Можно было бы привести длинный перечень подобных высказываний, но есть ли в том нужда? В литературе главное не декларации, не намерения, а результаты. Результат же таков: русские писатели на чужбине, как правило, не прижились.

Этот феномен, не всегда понятный людям Запада, можно считать заключительной главой или, если хотите, послесловием к истории великой русской литературы XIX— начала XX века. Как тут не вспомнить слова Достоевского: «Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад вертишься».

Если хронологически обозреть историю возвращения писателей-эмигрантов в СССР, то первой крупной фигурой (вслед за Алексеем Толстым) следует считать Андрея Белого. Открыватель новых горизонтов языка, автор романа «Петербург» и книги стихов «Пепел», Андрей Белый пробыл в эмиграции недолго (1922—1923 годы). «Ужасно скучаю по России,— записывает он в дневнике 24 июня 1923 года.— Трудно жить с берлинскими русскими». О его возвращении ходили нелепые слухи, видимо, инспирированные эмигрантскими политиканами. Этим домыслам, бывало, верили даже лучшие люди российского зарубежья. Марина Цветаева, с которой он поддерживал тесные контакты в Берлине, писала много лет спустя после отъезда Андрея Белого на родину:

«Больше я о нем ничего не слышала. Ничего, кроме смутных слу-

хов, что живет он где-то под Москвой... Пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки — забыт».

Цветаева была обманута эмигрантскими слухами, обманута и в частности, и в главном. На родине Андрей Белый активно «участвовал в современности». Писал и печатался много. Созданные им тогда две книги интереснейших воспоминаний и сейчас широко читаются в СССР. Щедро делился Андрей Белый с молодыми писателями своей богатейшей эрудицией, принимал участие в литературных диспутах. На собрании советских писателей он говорил о готовности всем своим творчеством служить революционной России. Когда в 1934 году он скончался, газета «Правда» писала в некрологе: последний из крупнейших представителей русского символизма Андрей Белый умер советским писателем.

Именно для того, чтобы «участвовать в современности», возвращались писатели из остановившегося эмигрантского времени в кипучую жизнь отечества. Вернулся С. Скиталец — для активной работы, для того, чтобы написать еще много интересных книг. Вернулся певец родной природы И. Соколов-Микитов. Да и сама Марина Цветаева вернулась в СССР в 1939 году, сказав в одном из стихотворений, что 17 лет, проведенные на чужбине, прошли «под золой эмиграции».

Пожалуй, дольше всех пробыл за границей великий армянский поэт Аветик Исаакян, вынужденный еще в 1911 году покинуть царскую Россию из-за политических преследований. В 1919 году он опубликовал в Женеве поэму «Сасма Мгер», в которой приветствовал Октябрьскую революцию. К тому времени Исаакян был уже известным поэтом, но западные журналисты не спешили его интервьюировать и рассказывать читателям о его взглядах — они гонялись за «беженцами от большевизма». В 1936 году Исаакян переехал в СССР. Кроме всенародного почитания в родной Армении, он нашел здесь блестящих переводчиков своих стихов на русский язык — а его переводили и Анна Ахматова, и Борис Пастернак, и Николай Тихонов,— а значит, и многомиллионную всесоюзную аудиторию.

Для активного «участия в современности» вернулся на родину человек интересной судьбы — князь Дмитрий Святополк-Мирский. Представитель одной из древнейших аристократических фамилий России, он вступил в белую армию, дослужился до полковника. В эмиграции князь, человек широкой эрудиции, занялся литературоведением. В 1926 году он издал книгу «Современная русская литература. 1881—1925 гг.». Размышляя о судьбах родины, следя за ходом событий в Советской России, Святополк-Мирский в результате мучительной переоценки ценностей пришел к осознанию своей былой неправоты. В 1932 году он вернулся на родину и много выступал в печати как литературный критик. Святополк-Мирский проделал значительную эволюцию. Он ошибался, он спорил и с эпохой, и с самим собой, но он жил, он изменялся, как изменяется само Время. А в брошенном им эмигрантском мире стрелки часов как будто замерли.

Остановившееся время — страшная беда для человека, и особенно для писателя. Это хорошо видно на примере такого талантливого человека, каким был Алексей Ремизов. За рубежом он написал много книг, но они в лучшем случае — самоповторение, в худшем — откровенные

неудачи. Оторвавшись от родной почвы, лишившись корней и притока свежих впечатлений (российских, заграничные его не интересовали), Ремизов пережил самого себя, на много лет пережил того Ремизова, который вошел в историю русской литературы. «Опустошение — пустыня — вот под каким знаком пройдет моя жизнь»,— такой беспощадный диагноз поставил он самому себе в своих воспоминаниях («Иверень»). Он маялся в эмиграции, тосковал по родине. И закономерно, что в 1948 году, за несколько лет до смерти, Ремизов принял советское гражданство и завещал Советскому Союзу основную часть своего архива.

Советским гражданином умер в Риме Вячеслав Иванов — идейный вождь русского символизма, некогда хозяин той петербургской квартиры, которая вошла в историю «серебряного века» русской поэзии как «башня из слоновой кости». Один из популярнейших поэтов дореволюционной России Константин Бальмонт не создал после бегства с родины в 1920 году и до самой смерти в оккупированном гитлеровцами Париже практически уже ничего. Саша Черный переключился почти полностью на детскую тематику: его основной заботой стало — уберечь детей и внуков из эмигрантских семей от ассимиляции, от потери языка, от забвения Родины и ее истории. Но прежнего блестящего сатирика и юмориста Саши Черного уже не было — и быть не могло.

Конечно, говоря о писателях-эмигрантах, нельзя не назвать имя Ивана Бунина. Он продолжал писать — и писать хорошо. Но и для него время остановилось. Разве картины дореволюционной России, которые он блистательно воссоздал в 20-е, 30-е и даже в 40-е годы, когда уже полыхала вторая мировая война,— не лучшее тому доказательство? Но и Бунин, и немногие хорошие книги других авторов не меняют общей картины — картины поразительного литературного бесплодия российской эмиграции. Здесь ведь надо оперировать абсолютными величинами, а не исходить из суммарного потенциала уехавших от Революции талантливых писателей. И если подойти с такой меркой, то можно сделать вывод: русская литература в эмиграции не состоялась.

И в этом плане очень характерна, может быть, символична фигура Александра Куприна. Один из корифеев предреволюционной русской прозы, широко читаемый, признанный всей Россией авторитет, он уехал на Запад, не поняв революции, в расцвете лет и сил. Он уехал, уже создав «Поединок», «Яму», «Гранатовый браслет», «Гамбринус» и другие свои шедевры. За эмигрантские годы к ним не прибавилось ничего, за исключением — если мерить масштабами купринского таланта — немногих милых пустячков. Уехав, он попал в небытие. И он вернулся, к сожалению, слишком поздно, когда уже не было сил наверстать бесцельно потраченные годы...

Москва Родная

Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Всего этого не было, когда

я уезжал из России. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине,— это люди, теперешняя молодежь и дети.

Москва очень похорошела. К ней не применим печальный жизненный закон,— она делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно приятно: я провел в Москве свое детство и юные годы.

Необыкновенно комфортабельно метро, которое, конечно, не идет даже в сравнение с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Таких широких проспектов, как в Москве, нет и за границей. В общем, родная Москва встретила меня на редкость приветливо и тепло.

Но, конечно, главной «достопримечательностью» Москвы является сам москвич.

Насколько я успел заметить, большинству советских людей присуще уважение к старости. Я плохо вижу, и поэтому часто, когда мне надо было переходить шумную улицу, я останавливался в нерешительности на тротуаре. Это замечали прохожие. Юноша или девушка предлагали свою помощь и, поддерживая под руку, помогали мне с женой перейти «опасное место».

Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!»— и спешит дальше. Кто он? Откуда меня знает? По-видимому, видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это брошенное на ходу «Привет Куприну» звучало замечательно просто и искренне.

Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку: «Я — домработница такая-то. Вы — писатель Куприн? Будем знакомы».

В Александровском сквере, где мы с женой присели отдохнуть на лавочке, нас окружили юноши и девушки. Отрекомендовавшись моими читателями, они завязали разговор. А я-то думал, что молодежь СССР меня совсем

не знает. Я взволновался тогда почти до слез. Потом ко мне как-то подошла группа красноармейцев. Старший вежливо приложил руку к козырьку и осторожно осведомился: не ошибается он,— точно ли я Куприн? Когда я ответил утвердительно, красноармейцы забросали меня вопросами: хорошо ли я устроен, доволен ли я приемом в Москве? Я рассказал им, как нас хорошо устроили, и красноармейцы тогда удовлетворенно и с гордостью заключили: «Ну, вот видите, какая у нас страна!»

Я побывал в кино в «Метрополе». Шла цветная картина «Груня Корнакова». Каюсь, я следил за экраном только краем глаза. Мое внимание было занято публикой. Можно сказать, что в картине «Груня Корнакова» мне больше всего понравилось, как ее воспринимает зритель. Сколько простого, непосредственного веселья, сколько темперамента! Как бурно и ярко отзывались зрители — в большинстве молодежь — на те события, которые проходили перед ними! Какими рукоплесканиями награждались режиссер и актеры! Сидя в кинотеатре, я думал о том, как было бы хорошо, если бы советской молодежи понравился мой «Штабс-капитан Рыбников». Тема этого рассказа — разоблачение японского шпиона, собиравшего во время русско-японской войны в Петербурге тайную информацию,— перекликается с современностью, и я дал поэтому согласие «Мосфильму» на переделку этого рассказа для кино.

Этим летом на даче в Голицыно у меня перебывало в гостях много советских юношей и девушек. Это — дети моих родственников и знакомых, выросшие, возмужавшие за те годы, что меня здесь не было. Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа. Это — прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них по сравнению с юношами дореволюционной эпохи стала совсем иная, более свободная и уверенная, походка. Видимо, это — результат регулярных занятий спортом.

Меня поразил также высокий уровень образованности всей советской молодежи. Кого ни спроси — все учатся, конспектируют, делают выписки, получают отметки.

А как любят в СССР Пушкина! Его читают и перечитывают. Он стал подлинно народным поэтом. Вот забав-

ная и вместе с тем трогательная деталь. В Голицыно у одной знакомой нам колхозницы родился сын. Она назвала его Александром. Мы спросили ее, почему она выбрала это имя. Она ответила, что назвала его так в честь Пушкина. Имя ее мужа — Сергей, и сын таким образом, как и Пушкин, будет называться Александром Сергеевичем.

Сами по себе интересны обстоятельства, при которых Александр Сергеевич появился на свет. В Голицыно строился родильный дом, который должен был быть закончен к пятнадцатому августа. Александр Сергеевич, однако, пожелал родиться четырнадцатого августа. Родственники повезли будущую мать на станцию, чтобы отправить в ближайшую больницу, но попали к поезду, который не останавливается в Голицыно. Тогда начальник станции, зная, что женщине необходима срочная врачебная помощь, специально ради нее остановил поезд, и ее вовремя доставили в больницу. Разве могла крестьянка дореволюционной России мечтать о том, чтобы для нее и для ее будущего ребенка останавливали поезда?

Меня бесконечно радуют советские дети. Я восхищен тем, что страна уделяет им столько внимания и что советское правительство так оберегает беременность. Это очень мудро. О детях важно заботиться, потому что в них — будущее страны. Внимание к женщине и к ее ребенку дает ей моральную силу воспитывать достойных граждан СССР.

Голицыно, где мы проводили лето, встретило нас разноголосым ребячьим хором. В этом живописнейшем подмосковном поселке расположилось несколько десятков детских садов. Я очень люблю детей и был чрезвычайно рад такому приятному соседству. По утрам, выходя на террасу, я сообщал жене, что «галчата» уже проснулись. Потом из нашего садика я видел, как они чинно, парами проходят мимо, все пузатенькие, краснощекие, улыбающиеся.

Бывало, что привезенная из Парижа кошка Ю-ю (названная так в честь кота — героя одного из моих рассказов) с разбега вспрыгивала ко мне на плечо, и это всегда вызывало бурный восторг детишек. Они подбегали к изгороди, и мы с Ю-ю таким образом служили невольной

причиной нарушения дисциплины. Вечером, в восемь часов, в Голицыно наступала тишина: детей укладывали спать, и сразу становилось скучно.

Кстати, какое прекрасное сочетание понятий — детский сад. Именно сад! Сад, где расцветают юные души. За границей дети совсем не такие, как здесь. Они слишком рано делаются взрослыми.



Александр Иванович Куприн.

В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести — Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...

Мне очень хочется писать для чудесной советской молодежи и пленительной советской детворы. Не знаю только, позволит ли мне здоровье в скором времени взяться за перо. Пока думаю о переиздании старых вещей и об издании произведений, написанных на чужбине. Мечтаю выпустить сборник своих рассказов для детей.

Многое хочется увидеть, о многом хочется поговорить. После переезда в Москву я предполагаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино «Господа офицеры» (пьесу, переделанную из моего «Поединка»), «Тихий Дон», «Любовь Яровую», «Анну Каренину», «Петра I». Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь по-прежнему.

Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше; пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно мы давнишние друзья, дружба которых была прервана, но сейчас возобновилась. Некоторые из них — мои старые читатели. Другие — читатели молодые, о существовании которых я и не подозревал. Всех их радует то, что я, наконец, вернулся в СССР. Душа отогревается от ласки этих незнакомых друзей.

Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае, на родине все лучше!

«Комсомольская правда»
11 октября 1937 года

Русский с головы до ног

«Вы спрашиваете меня, как я стал на тот путь, по которому иду теперь?.. Я — русский с головы до ног. Мои предки — именитые калужские богачи купцы. Значит, говорил во мне и приказывал голос крови. Только прислушиваясь к нему, я потянулся к родной старине и ее образам».

Так говорил в 1928 году интервьюеру знаменитый художник, один из корифеев графики XX века, Иван Яковлевич Билибин. Говорил, разумея свой путь в искусстве, свой интерес к национальному началу, к русскому фольклору, к былине, сказке, лубку, миниатюре, к образам русских людей — воинов, пахарей, князей, святых, сказочных персонажей. К тому времени уже сложился безошибочно узнаваемый «билибинский» стиль — в графике, прежде всего в книжной иллюстрации. Репутация И. Я. Билибина как сугубо национального русского художника была уже непоколебимо прочна. Так что мастер имел все основания говорить о голосе крови, который определил его художнический путь.

И все же приведенные слова из интервью Билибина могут вызвать двойственное чувство. Потому что сказаны они были за границей, в эмиграции. О сложной судьбе художника рассказывается в статье журналиста Ю. Баранова.

Добровольная изоляция от Родины — и «русский с головы до ног»? Это противоречие Билибин в конце концов разрешил, вернувшись на Родину, но сколько времени было потеряно — для него, для русского искусства! Билибин прожил в эмиграции 16 лет... Уехал в 44 года, вернулся в 60 лет. Таким образом, годы его зрелости прошли на чужбине, сначала в Египте, потом во Франции.

Билибин услыхал об Октябрьской революции в Крыму,

куда он уехал в сентябре 1917 года из бурлящего Петрограда, чтобы спокойно поработать. Юг России был одним из основных районов действия белых армий. И художник, плохо ориентировавшийся в политике, был захвачен волной беженцев, хлынувшей из России после разгрома белых. 21 февраля 1920 года он отплыл из Новороссийска на русском пароходе под прикрытием английских военных кораблей. Официально эта группа эмигрантов называлась «гостями английского короля», но, разумеется, ее доставили не в Букингемский дворец, а в концентрационный лагерь под Александрией в Египте.

Такое «королевское гостеприимство» отрезвило многих спутников Билибина, и они вскоре вернулись на родину. Сам же художник остался в Египте. Вот как он описывал свое положение в первый период пребывания в эмиграции: «После долгих мытарств я обосновался в Каиро. Работу я нашел, но денег дают ужасно мало, так живу я на старости лет совсем студентом, словно мне двадцать лет. Временами это раздражает...»

Однако материальные трудности вскоре кончились. В Каире жило немало богатых греков, были православные церкви и часовни, и на художника посыпались заказы. Он расписывал церкви, работал в частных домах. С заказами пришел и прочный достаток. Но не хлебом единым жив человек. Билибин не мог не понимать, что он растрачивает свой талант по пустякам. И уже в 1924 году он жалуется в одном из писем на родину: «Работать здесь трудно, ибо в художниках здесь не нуждаются и вообще, не поняли бы разницы между работой Сомова и какого-нибудь полковника, рисующего с фотографий или с картинок женские головки, чтобы не подохнуть с голоду». Нет, не собирался Билибин оставаться высококвалифицированным и высокооплачиваемым маляром в каирской глуши и в том же 1924 году перебирается в Париж.

В те годы в столице Франции собрался весь цвет русской эмигрантской интеллигенции. «Русский Париж» поражал обилием блестящих имен. В нем смешались и те, кто, подобно Бунину, бежал от революции, так и не приняв ее, и те, кто подобно Дягилеву, уехал на Запад еще

до 1917 года, и те, кто, оказавшись в эмиграции, старался держаться вне политики. К последним относился и Билибин.

В Париже художник преуспевал. Его подчеркнуто, обостренно национальный стиль отвечал потребностям — осознанным и неосознанным — всей русской колонии. Пожалуй, он был в «русском Париже» более популярным, чем раньше в Петербурге. На чужбине все воспринималось иначе — и билибинские картины, декорации и графические листы в какой-то мере удовлетворяли тоску по утраченным реалиям русской жизни.

Но самого мастера эта художественная сублимация удовлетворить не могла. Повторялось то же, что и в Каире, хотя, разумеется, на неизмеримо более высоком уровне. Чуткий художник понимал, что от него требуют уже не живого русского искусства, а стиля «а ля рюсс», требуют стилизации, гипертрофированности. Вот, например, как с восхищением описывал эмигрантский критик декорации Билибина к опере Римского-Корсакова «Царь Салтан», поставленной в Париже в рамках Русского сезона 1929 года: «Это была живая иконопись. Билибин сообщил иконе третье измерение, к ширине и высоте прибавил глубину, и в этой глубине задвигались ожившие лики. Но не только зажила, задвигалась икона — она и улыбнулась, начала шутить. Билибин показал, заставил нас поверить, что в этом недоступном мире есть и быт... Да, мы любим этот мир ожившей иконы. Эти вверх громоздящиеся терема, колокольни, купола, кончающиеся там где-то крестами, эти раскрывающиеся ворота, из которых выходят старцы и угодники...». Если вчитаться в эти строки, можно уловить в них и тоску человека, бежавшего от реальных кремлевских куполов, и... потерю вкуса, чувства меры. Икона, начавшая шутить,— это уже не русское, это пародия на русское.

И в Париже Билибин отдает много времени своему любимому жанру — книжной графике, иллюстрирует русские народные сказки, сказки Пушкина. Сохранился любопытный отзыв Александра Бенуа, тоже художника-эмигранта, об этих билибинских работах. Он назвал их «желаннейшим подарком для наших детей, особенно для тех

(число их все растет), которые уже совершенно офранцузились, так что и с русской поэзией их приходится знакомить во французском переводе».

Как и перед другими художниками российского зарубежья, перед Билибиным вставал вопрос: для кого работать? Эмиграция — слишком узкая среда, к тому же с течением времени еще более сужающаяся. Одни ассимилируются; другие нищают, теряют силы, возможности и желание покупать книги, бывать на выставках, ходить в театр; третьи возвращаются на родину или едут еще дальше, главным образом в Америку. Для французов? Крупнейшие французские издательства предлагают Билибину заказы, и он их с успехом выполняет, но — надо ли это ему, «русскому с головы до ног»?

Конечно же, он должен отдать свой талант родной стране. В 1935 году Иван Яковлевич Билибин становится советским гражданином (иностранного подданства он никогда не принимал). Он посылает в СССР письмо, адресованное тогдашнему директору Всероссийской Академии художеств Исааку Бродскому:

«Я уже несколько лет мечтаю вернуться на родину и работать для нее по моей специальности...

Зная, что Вы стоите во главе Академии художеств, я, как Ваш старый коллега, и прошу Вас о содействии.

Работаю я, пожалуй, энергичнее и больше, чем прежде. Пока здоров.

Напоминаю Вам о своих специальностях: графическое искусство, декоративное, театр, профессура. Я ведь опытный преподаватель. За последние годы я делал много и пейзажей, рисовал немало и людей. Чего только не делал! Люблю строгий, настоящий рисунок.

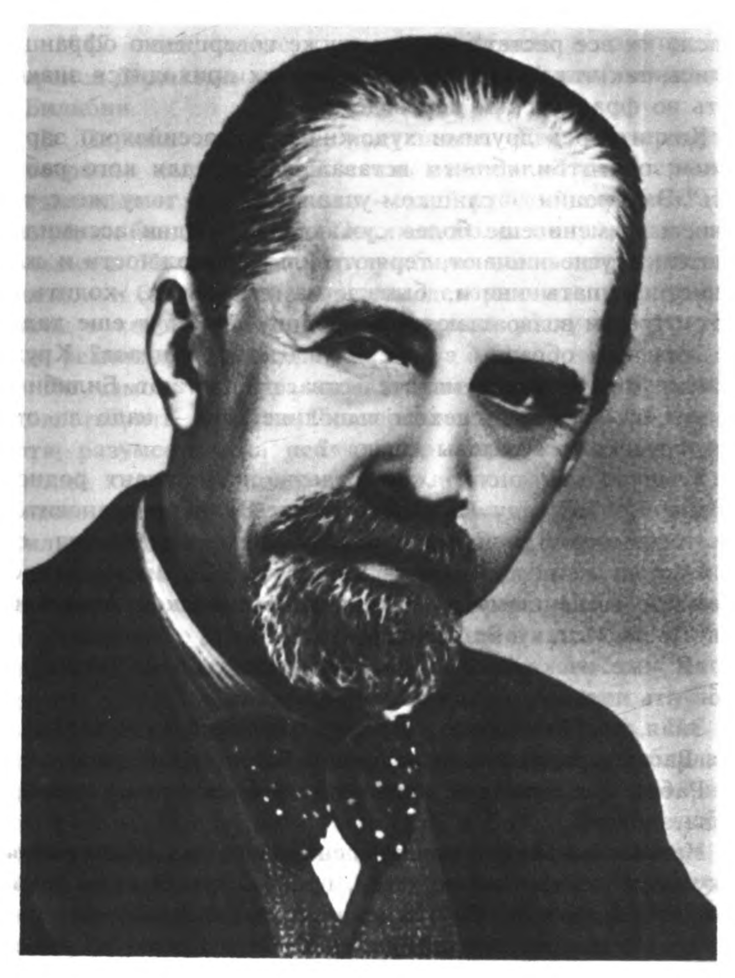
Жить здесь, в погрязшей в кризис культурной Европе, трудно, главным образом, морально.

Ассимилироваться с другим народом я не могу.

Я никак не мог принять гражданство чужой для меня страны, как это сделали многие из наших коллег.

Вместо того чтобы отдавать все свои силы другой стране, хочется их отдать своей родине».

21 февраля 1920 года Иван Билибин под охраной английских интервентов покинул родную землю.



Художник Иван Яковлевич Билибин. Фото Н. Караева.

16 сентября 1936 года он отплыл от чужедальных берегов и через несколько дней уже был в Ленинграде.

С энтузиазмом берется Билибин за работу. Он преподает в Институте живописи, скульптуры и архитектуры — во многом благодаря его усилиям там создается графический факультет. Он выполняет заказы для крупнейших ленинградских театров, создает новые серии книжных иллюстраций — к произведениям Пушкина, Лермонтова,

Алексея Толстого. Сергей Эйзенштейн приглашает его для работы над фильмом «Иван Грозный». Словом, Билибин снова оказывается в родной стихии, в кругу близких ему тем и образов. Ему шестьдесят лет, но он полон сил и новых творческих замыслов.

С особым увлечением Билибин принимает заказ на иллюстрации к сборнику русских былин «Слово о стольном Киеве и русских богатырях». Он еще не знает, что это — его последняя работа...

В сентябре 1941 года в Москве, в Третьяковской галерее должна была открыться персональная выставка Ивана Билибина. Но 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР, и все изменилось.

Гитлеровцы наступали на Ленинград, началась эвакуация, и Билибину в числе прочих деятелей культуры было предложено покинуть город. Но художник отказался. В его архиве сохранился текст заявления в Академию художеств с отказом от эвакуации.

Достаточно он был вдали от родного города, вдали от Родины в нелегкие для нее годы! Старый русский художник, гражданин СССР, ленинградец Иван Билибин считает для себя единственно возможным разделить судьбу родного города, какой бы тяжелой она ни была. А судьба Ленинграда оказалась страшной. Блокированный фашистскими войсками, город терпел жесточайшую нужду. Люди умирали под бомбами и снарядами, от голода и холода — на улицах, в заводских цехах, в академических кабинетах, в собственных квартирах. Умирали, но боролись, не сдавались.

Не сдавался и Билибин. В тяжелейшую блокадную зиму 1941—1942 гг. он продолжал работать. Он собирался создать серию открыток-лубков, где привычные билибинские образы русской истории обрели бы злободневный агитационный смысл. Но главное — он продолжал работу над книгой былин. Последний его рисунок — карандашный набросок богатыря Дюка Степановича, возвращающегося в Киев. В последних строках его записной книжки написано: «Работа продолжается... Книга должна выйти, когда наступит победоносный мир. Книга о нашем эпическом и героическом прошлом».

Но сил у художника уже не было. Как сказано в статье о его последних днях, опубликованной в журнале «Искусство», «в ночь с 7 на 8 февраля 1942 года в стационаре для больных дистрофией при Всероссийской Академии художеств на шестьдесят шестом году жизни скончался Иван Яковлевич Билибин». Девятьсот тысяч человек погибло в осажденном городе. Их прах покоится на Пискаревском кладбище, где на одной из плит траурного мемориала высечены слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». И среди других ленинградцев, жертв войны, не забыт замечательный художник Иван Билибин.

Безусловно, для такого человека, как Билибин, эмиграция была аномалией. «Я — русский с головы до ног»,— сказал он о себе. Сказал, покинув Отечество. И в этом было противоречие. Но он его разрешил — вернувшись на Родину.

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ: «Здесь шумят чужие города»

Русский артист Александр Николаевич Вертинский вернулся на Родину в 1943 году после четверти века скитаний по разным странам. Многих — и в СССР, и за границей — это удивило. В начале столетия его рафинированное, эстетское искусство было весьма популярно. В ретроспективе Вертинский воспринимался как характерная черточка предреволюционной России. Казалось бы, кто-кто, а Вертинский ушел за пределы Отечества с осколками империи — навсегда. Но он вернулся — причем в тяжелое для СССР время, в разгар Великой Отечественной войны. Почему же этот его шаг многими не был понят сразу? Видимо, его артистическую маску, его сценический облик и поклонники и недруги Вертинского (а у него было много и тех и других) переносили на его личность. А за его изысканными, изящными песенками, за подчеркнуто аристократической манерой держаться прятался человек, измученный тоской по Родине, которому опостылела чужбина, несмотря на личный артистический успех. «Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда»,— пел он в одной из своих самых популярных в эмигрантской аудитории песен. Не говорит ли сама эта популярность, неизменно горячий прием «Чужих городов» о том, что чувства артиста разделялись многими эмигрантами?

Вернувшись на Родину, Вертинский много работал: по-прежнему пел, записывался на пластинки, снимался в кино. Именно как киноактер он был удостоен Государственной премии СССР. И еще он написал воспоминания, отрывок из которых мы предлагаем вашему вниманию. Они были опубликованы в 1962 году, уже после смерти артиста, в четырех номерах литературно-художественного журнала «Москва».

Четверть века без родины

Я сошел с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В добровольное изгнание. В долгую и горькую тоску.

Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался,—



Лауреат Государственной премии СССР А. Н. Вертинский в своей московской квартире.

я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на Родине!

К этому я согласен прибавить еще и весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы, все деньги, которые я там зарабатывал... Все, все, все, ибо все это было мне не нужно!

...Сначала все были полны надежд. «Это ненадолго!» — говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывезти и кое-что заработать. Многие заходили в своем оптимизме еще дальше.

— Англичане дают деньги, экипировку и вооружение,— говорили они.

— Но они уже давали,— робко возражал я.

— Будет сформирована новая армия. Она будет отправлена на английских кораблях и высажена.

— Но они уже высаживали! — деликатно напоминал я.

— Ничего. На сей раз это вполне серьезно!

Возражать было напрасно. Какой-то купец из старых московских фамилий даже заключал пари на любую сумму, что «к Новому году будем в Москве».

Некоторых подозрительных лиц спешно вызывали в разведки и штабы, вели с ними какие-то переговоры. Много обещали, много предлагали. Немолодые особы сомнительной репутации, работавшие в белых разведках, делая «хорошую мину при плохой игре», загадочно улыбались и иногда с большой доверительностью интимно говорили:

— Ждите больших событий! Скоро поедем домой!

В фешенебельном игорном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альтбрандтом, играл Жан Гулеско, знаменитый скрипач-румын, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание — забыться. Забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в «баккара», потом ужинали, потом пили «шампитр». Собирались мужскими компаниями по нескольку человек и кутили, вспоминая старый Петербург.

— Жан, нашу Конногвардейскую!

Гулеско знал наизусть «Чарочки» всех полков. Раздувая цыганские страстные ноздри, он подходил к столу.

— Гулеско, наш Егерский! Ну-ка!.. Встать! Господа офицеры!

Вставали. Пили. Требовали «Боже, царя храни».

Гулеско играл, сверкая белками глаз, как-то особенно ловко подхватывая на лету и перекладывая в карман швыряемые ему десятки.

Я помню, тогда мне бросилась в глаза одна странная вещь. Я заметил, что многих, очень многих людей революция поставила на их настоящее место... И даже не то. Вернее, в эти дни, как в проявителе, который употребляют фотографы, ясно обозначились те черты некоторых людей, которые раньше не замечались и не могли быть замечены, как ничего нельзя увидеть на негативе, пока его не опустишь в проявитель.

Кем и чем были эти люди до революции? Многие из них занимали посты, играли видную роль при дворе, работали то на одном, то на другом поприще, часто были всесильны, всемогущи, имена их были известны каждому,— и все это было не то, что они представляли собой на самом деле. Только здесь, в эмиграции, выброшенные из своей тихой заводи шквалом революции, они обрели свою истинную сущность, показали свое истинное лицо, нашли истинное призвание.

На кухне шикарного ресторана-кабаре «Эрмитаж», в котором мне пришлось петь и быть еще директором, служил поваром бывший губернатор. Не знаю, каким он был администратором в России. Вероятно, плохим. Знавшие его говорили, что он был зол, туп, придирчив и завистлив. Но поваром он был чудесным! Бывало, придя в ресторан в восемь часов утра, я заставал его за огромной чашкой чая с клубникой. Он потягивал горячий напиток и благодушно улыбался. Еда была его стихией. Целый день он пробовал соусы, вылизывая языком ложки, потом обедал — жирно, вкусно,— пил настойку. Вечером снова ел.

— Ну как, Николай Васильевич?— спрашивал я.— Трудновато?

— Да что вы, милый! Я отдыхаю! Только теперь я понял, что такое красота жизни!

И это была правда — он нашел себя.

А сколько великолепных лакеев, услужливых метрдотелей, лихих шоферов повыходило из людей, принадлежавших к самым богатым, самым высшим классам старого об-

щества! Сколько сутенеров, жуликов, шулеров вышло из тех, кто носил самые громкие титулы, самые аристократические фамилии!

Значит, какая-то правда была в том, как говорил Маяковский:

Эту накипь
Революция выплеснула
за борт.

Правда, вместе с этой накипью за борт попали и совсем иные люди.

Летом 1919 года я гастролировал в Бессарабии. Трудно передать чувства, которые охватили меня при виде земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу. Те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными распятиями, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце, те же птицы.

В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели на телеграфной проволоке, и кругом, куда ни кинешь взгляд,— степь и степь. Так похоже на Родину! Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор. Настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь в романсах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры. Кибитки стояли полукругом с поднятыми оглоблями. Мы останавливались, шли к цыганам, садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о Родине. А степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела, и было много общего между жизнью этих людей без Родины и моей. Так родилась моя песня «В степи Молдаванской».

Что за ветер в степи
Молдаванской...
Как поет под ногами
земля...

До концерта оставалось полтора дня. Я располагал временем и решил пойти на берег Днестра, посмотреть на родную землю.

Было часов восемь вечера. На той стороне реки нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до меня. По берегу ходил часовой. Стада мирно паслись у самой реки.

Все это было невероятно, безжалостно, обидно близко, совсем рядом. Казалось, всего несколько десятков саженей отделяли меня от Родины.

«Броситься в воду! Доплыть! Никого нет,— мелькало в голове.— А там? Там что?.. Часовой спокойно выстрелит в упор, и все... Кому мы нужны? Беглецы! «Сбежавшие ночью». Кто нас встретит там? И зачем мы им? Остатки прошлого! Разбежавшиеся слуги барского дома. Нас засмеет любой деревенский мальчишка. А что мы умеем? Чем мы можем быть полезны им? Полы мыть и то не умеем».

Я сел на камень и заплакал... Придя в комнату, я закончил песню:

А когда засыпают
березы
И поляны отходят
ко сну,
Ох, как сладко,
как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на
родную страну.

Много переживаний было у меня в Бессарабии. Всюду милые люди, не беженцы — суматошные, растерянные, двигающиеся по закону инерции, еще не осознавшие своей огромной потери, ищущие, сами не знающие, чего им надо,— а коренные, исконные русские жители этих мест, люди нашей, русской земли, никуда с нее не убегавшие. Волею судеб они попали под чужую власть — под иго «невоевавших победителей», жадно набросившихся на свалившийся им с неба богатый край. Эти люди не забыли своей Родины, они думали о ней, терпеливо ждали своего освобождения и верили в него, считая, что власть «завоевателей» временна, случайна и скоропреходяща.

Они посещали мои концерты, приходили ко мне. В моем лице они видели не только артиста, но и человека, который

привез им частицу родного искусства. Они старались объяснить не понимавшим меня румынам, кто я и о чем пою. Искренне гордились мною. А во всех городах и местечках по приказу из Кишинева уже следили за мной. На концертах сидели сыщики, начальники сигуранц, чиновники. Они внимательно наблюдали за мной и публикой, стараясь вникнуть в тайный смысл моих слов. Наблюдали, как реагирует взволнованная аудитория, и нервничали, видя слишком горячий прием. Как-то в Аккермане мой концерт посетил комендант города. Он сидел в первом ряду в полной парадной форме и не понимал, за что мне горячо аплодируют. В конце концов он не выдержал. Вскочив со своего места, он повернулся лицом к публике и, стуча по полу палашом, в бешенстве закричал по-румынски:

— Что он поет? Я требую, чтобы мне объяснили, что он поет! Отчего здесь все с ума сходят? Голоса у него нет. В чем дело?

К нему подошли какие-то люди, пытались объяснить. Полковник был в ярости.

— Это неправда!— кричал он.— Он — большевик! Он вам делает митинг! Он поет про Россию. Артистам не делают таких демонстративных оваций.

Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так хорошо пел, а потому, что я был русский, свой, запрещенный.

Шаг за шагом, город за городом, не минуя даже маленьких местечек, я катил по Бессарабии, напоминая людям об их языке, об искусстве их великой Родины, о том, что она есть и будет. А вместе со мной, как снежная лавина, катился все увеличивающийся ком доносов, рапортов со всех мест, где ступала моя нога, где звучал мой голос.

Публика была возбуждена, ко мне тянулись, благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что приехал, за то, что привез русское слово, что утешил, успокоил. Воистину это окрылило меня. У меня открылись глаза. Это было и радостью, и наградой.

Однажды в степи, около Сорок, мы встретили мальчишку-пастушка. В руках у него на веревке, головой вниз, висел полузамученный большеглазый степной орленок. Мы остановили лошадей.

— Продай птицу,— предложил я.

Мальчик согласился. Он рассказал, что птица прилетела «с той стороны». Я дал ему денег, взял орленка и, доехав до берега Днестра, вышел из экипажа.

Я развязал орленку крылья и лапы, положил его в густую траву у самого берега, присел возле него на корточки.

— Когда ты отдохнешь и поправишься,— тихо сказал я,— и сможешь летать,— возвращайся на родину и поцелуй нашу землю. Скажи, что это от меня...

Орленок взглянул мне в глаза. На секунду его взор стал строгим и пристальным. Он точно читал правду. И вдруг, к моему восторгу, взмахнул крыльями и взвился в небо. Через несколько секунд он был на середине Днестра. Потом, становясь все меньше и меньше, черной точкой исчез на том берегу, где синели леса моей Родины.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление. Уже в самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то бóльшим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось мне отвечать разным людям во время моих скитаний по миру. Я уже не мог оставаться только артистом — вынужден был стать дипломатом, осторожным, тактичным, спокойным и уверенным, серьезным и непоколебимым, защищающим честь и престиж своей Родины.

О чем только меня не спрашивали! Каких только вопросов мне не задавали! И на все я должен был отвечать. Терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения. Грязная ложь об СССР, которой кормили заграницу эмигрантские газеты, конечно, делала свое дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят... детей.

Приходилось бороться, пробивая стену тупости и кретинизма, воздвигнутую в ушах иностранцев злобной реакционной прессой. Но были среди иностранцев и люди, знавшие и любившие нашу литературу, искусство. Было

много сочувствовавших усилиям, жертвам, которые приносила моя Родина, выковывая в огне революции новых людей и новую Россию.

Шли годы, годы «изгнания», хотя, собственно говоря, нас никто не изгонял, а «изгонялись» мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас и, оглушив, успокоил. Так успокаивает страдающего бессоницей таблетка веронала. Шум в ушах, безразличие, забвение, сон. Но вот утром встаешь и чувствуешь, что не отдохнул, что это только суррогат отдыха, а настоящего сна, покоя нет. Чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому из нас, что никакой жизни вне Родины построить нельзя и быть ее не может. Особенно остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели. Дмитрий Мережковский, маленький, легкий, высохший, как мумия, целиком ушел в мистику.

Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно «разоблачала» современное искусство. Молодежь она не понимала и не любила. Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присужденная ему, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского расселения. Эта премия вызвала большие толки.

Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды. Но кого мог интересовать французский быт? Жить ему становилось все труднее. Заработки в газетах были невелики, пришлось открыть переплетную мастерскую. Но дела в ней шли плохо, к тому же писатель стал плохо видеть и в конце концов почти ослеп. Его дочь Ксения, красивая, способная девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, мечтала о возвращении на Родину.

Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем «белого дела». Другие, более сдержанные, лицемерно «жалели», ссылаясь в виде оправдания на его болезнь и «преклонный возраст». Третьи, товарищи по перу, говорили о нем, как о «дорогом покойнике», «не заплатившем по векселю».

Алексей Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на Родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издалека, из страны, в которую многим уже не было возврата.

Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского, с которым в свое время в Москве мы были приятелями. Я мельком видел его несколько раз в «Ротонде» на Монпарнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренев, рассказ которого «Сорок первый» в то время наделал много шуму в эмиграции, и особенно в ее литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров.

Все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не удавалось. Все же некоторые из них, с кем я начинал свою карьеру в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о жизни и стройке, которая шла на Родине. Их рассказы согрели мое сердце и заставили его биться еще сильней от тоски по ней.

Редкие встречи с советскими писателями только подчеркивали нашу отчужденность. Мы уже потеряли общий язык с ними и плохо понимали друг друга, точно это были люди с другой планеты. От них веяло новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим «гнилым Западом», который действительно оказался гнилым, и только сейчас мы в полной мере можем оценить это точное его определение, высказанное много лет назад.

До сих пор не понимаю: откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного иностранного языка, в двадцать пять лет, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастеником, совершенно не приспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя,— так необдуманно покинуть Родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?

Задавая себе этот вопрос спустя десятки лет, я все еще не мог найти в своей душе искреннего и честного ответа.

Я ненавидел Советскую власть? О, нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала.

Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Убеждений у меня никаких в то время не было. Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать? Почему я оторвался от той земли, за которую готов был теперь с радостью отдать свою жизнь, если бы это было нужно?

Очевидно, это была просто глупость! Юношеская беспечность. Может быть, страсть к приключениям, к путешествиям, к новому, еще не изведанному? Не знаю.

Так или иначе — я оказался в Турции...

Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без Родины.

Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленный в благоприятные условия существования — искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется,— я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, до такой «человечности», какую мне дали годы скитаний.

Говорят, душа художника должна пройти по всем мукам. Моя душа прошла по многим из них. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства натерпелся я за эти годы! Сколько проглоченных обид! Сколько пропущенных безмолвно оскорблений Родины!

Это была расплата. Расплата за то, что когда-то я посмел забыть о ней. За то, что в тяжелые для Родины дни, в годы борьбы и испытаний я ушел от нее. Оторвался от ее берегов.

Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таун-холл»— один из двух больших и самых популярных концертных залов города. Больше его только «Карнеги-холл», который рассчитан на четыре тысячи человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпезным.

В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно.

«Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные! Что им до меня?»— думал я.

Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был буквально весь цвет артистического мира — от милого Федора Ивановича Шаляпина, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего по-русски Бинга Кросби, которому сказали, что я «рашен крунер»[1] и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и режиссеры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке.

Оставалось только хорошо петь, что я и старался делать по мере своих сил.

Окончательно мы подружились с публикой на «Чужих городах». Я тогда еще не был особенно тверд в этой песне, так как написал ее перед самым отъездом из Европы и не имел случая «попробовать» ее на публике. Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах: реакция на нее была подобна урагану.

За кулисами в антракте меня окружили друзья. Шаляпин звал ужинать и шутил, что «много не пропьем — только то, что сегодня у тебя в кассе!»

Болеславский познакомил меня с Бингом Кросби и переводил мне его слова.

— Россия — великая страна,— взволнованно говорил он.— Мы здесь ничего не умеем! Я вас понял, маэстро. Вот.— Он показывал мне либретто моих песен по-английски.— Мы не умеем так петь!

Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки...

Мои менеджеры сияли.

— Мы победили Нью-Йорк!— было написано на их лицах.

Закончил я концерт песней «О нас и о Родине». Когда я спел: «А она цветет и зреет, возрожденная в огне», то думал, что разнесут театр.

Таких аплодисментов я еще никогда не слышал. Ни-

---

[1] Русский исполнитель эстрадных песен *(англ.)*.

когда в своей жизни. Относились они, конечно, не ко мне, а к моей Родине...

...Многих простила наша великая Мать-Родина. В том числе и меня. В Шанхае после многочисленных просьб мне наконец дали советское гражданство.

То были дни войны, когда новые великие испытания переживала наша Родина.

Тысячи рук ее детей тянулись к ней из разных углов нашего рассеяния, умоляя простить их и пустить домой, чтобы помочь ей, чтобы отдать свою жизнь за нее!

Я верил, что из огня войны наша Родина выйдет еще более могучей, она станет еще более цветущей и прекрасной, будет для нас еще дороже, еще любимей...

Окончательный выбор (1945—1955 гг.)

Вторая мировая война оказала решающее воздействие на судьбы российского зарубежья. Нападение гитлеровской Германии на СССР заставило каждого выходца из России, проживающего на Западе, ответить на вопрос: «Каково же мое подлинное отношение к Родине?» Конечно, нашлись и такие, которые пошли в услужение фашистским оккупантам. Но таких было немного. Многие же российские эмигранты приняли участие в антифашистской деятельности.

Героическая борьба советского народа заставила перетряхнуть свой идейный багаж даже многих деятелей российской зарубежной контрреволюции. Война, вспоминал Василий Шульгин, один из лидеров монархически настроенного крупного дворянства дореволюционной России, на многое открыла глаза. В 1941 году, по его признанию, он думал так: «Пусть только будет война! Пусть только дадут русскому народу в руки оружие. И он свергнет ее!» Но война началась, и народ, получив в руки оружие, не только «не свергнул Советскую власть, а собрался вокруг нее и героически умирал в жестоких боях». Истекая кровью, он дрался за Родину, и для Шульгина, как и многих других эмигрантов, стало ясно, что «своей родиной эти люди считают Советский Союз, а Советскую власть считают своей властью».

В 1944 году во Франции в среде выходцев из России ходил по рукам документ так называемой «Группы действия русской эмиграции». Составил его Василий Маклаков, в царской России — один из видных политических деятелей, при Временном правительстве — посол во Франции, а затем — активный эмигрантский деятель, стоявший на ярко выраженных антисоветских позициях. Вот к какому выводу пришел Маклаков в упомянутом документе: «После всего того, что произошло, русская эмиграция не может не признать Советское правительство в качестве русского правительства». Но это не все. После освобождения Франции, в феврале 1945 года, Маклаков пришел в советское посольство в Париже во главе группы видных эмигрантов, таких, как бывший министр Временного правительства Д. Вердеревский, адмирал Кедров и другие. В беседе с советским послом Маклаков заявил:

«Мы не предвидели, насколько за годы нашего изгнания Россия окрепла. Победоносная Германия принуждена была перед ней отступить. Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны признать, кроме того, что все это подготовила Советская власть, которая управляла Россией, что в ее руках исход этой войны... Это меняло наше прежнее отношение к ней...»

«Советский Союз победил,— добавил адмирал Кедров, бывший заместитель председателя яро антисоветской белоэмигрантской организации —«Российского общевоинского союза»,— Россия спасена и спасен весь мир. Новая государственность и новая армия оказались необычайно стойкими и сильными, и я с благодарностью приветствую их и их вождей».

Но эти люди, при всей примечательности их внутренней эволюции, сами в борьбе не участвовали. Были, однако, и другие (и их было много), они не рассуждали, а действовали...

Само название антифашистскому движению во Франции —«Резистанс» («Сопротивление»)— дали русские эмигранты Борис Вильде и Анатолий Левицкий. Организованная ими «Группа музея человека» стала одной из первых нелегальных групп, боровшихся с немецкими оккупантами. 23 февраля 1942 года Б. Вильде и А. Левицкий были расстреляны в форте Мон-Валериан под Парижем.

Посмертно награждена советским орденом Отечественной войны I степени, французскими орденами Почетного легиона, Военным крестом с пальмами и медалью Сопротивления княгиня Вики Оболенская, казненная немцами 4 августа 1944 года за активнейшее участие в движении Сопротивления. В газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года погибла русская эмигрантка, монахиня мать Мария (Е. Ю. Кузьмина-Караваева), создавшая в Париже крупный подпольный центр антифашистской борьбы.

Можно назвать еще десятки имен русских людей, погибших в борьбе за честь и независимость Франции. Но, сражаясь за Францию, они также боролись и за независимость своей Родины — Советского Союза.

Огромным успехом в США пользовались выступления генерала Виктора Яхонтова, вдоль и поперек изъездившего страну со страстными выступлениями о героической борьбе советского народа с фашистскими полчищами. Сотни тысяч долларов собрали выходцы из России в фонд Красной Армии, стремясь из «эмигрантского далека» помочь родной стране.

Ряд Указов Президиума Верховного Совета СССР в 1946—1948 гг. о праве получения советского гражданства бывшими гражданами Российской империи, а также лицами, по тем или иным причинам ранее утратившими советское гражданство, открыл дорогу на Родину десяткам тысяч человек. Из Франции и Китая, США и Бельгии, Югославии и Канады возвращались они в Советский Союз, дорогой ценой заплативший за спасение Европы и мира от ужасов коричневой нацистской чумы. 20 миллионов советских людей погибли в годы второй мировой войны, 1710 советских городов лежали в развалинах... Не на легкую жизнь возвращались в послевоенные годы реэмигранты, с которыми читатель познакомится в этой главе.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
«Самый сильный магнит»

Врач Борис Александровский, в 1916 году окончивший медицинский факультет Московского университета, оказался на чужбине в годы гражданской войны. Турция, затем Болгария и наконец — Франция. Более двадцати лет прожил он во французской столице, постоянно вращаясь в самой гуще жизни «русского Парижа». После возвращения на Родину в 1947 году стал жить и работать в Саратове (там Б. Александровский проживает и поныне).

С большим интересом советская общественность познакомилась с его воспоминаниями «Из пережитого в чужих краях» (Издательство «Мысль», 1969). Главу из этих мемуаров мы предлагаем вниманию читателей.

На Большую землю

«Русский Париж» как своеобразное бытовое явление и центр политической жизни русского зарубежья довоенных и военных лет перестал существовать в 1946 году, после Указа Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении советского гражданства всем желающим русским эмигрантам, утерявшим его в предшествующие годы. Значит ли это, что антисоветские настроения среди лиц, не пожелавших воспользоваться этим правом, окончательно исчезли и что за рубежом не осталось непримиримых врагов Советского Союза?

Нет, не значит.

Я оставляю в стороне «невозвращенцев» из числа активных фашистских пособников. Но и среди старых эмигрантов, которые условно назывались «второй эмиграцией», некоторое число, трудно поддающееся учету, не пожелало стать советскими гражданами и не захотело окончательно порвать с прошлым.

В эту категорию входили все колеблющиеся и половинчатые элементы эмиграции. Они, восхищаясь величием и мощью Советского Союза и гордясь его успехами, представляли собою патриотов весьма условных и частичных. Это были патриоты типа «постольку поскольку...»

На вопрос, почему они медлят с принятием советского гражданства, они отвечали уклончиво:

— Торопиться с этим делом не следует. Надо сначала посмотреть, что из всего этого получится...

Под этим они подразумевали отъезд на родину бывших эмигрантов, бесповоротно порвавших с прошлым.

Но в жизни «советского Парижа» они все же принимали деятельное участие, совершенно искренне считая, что правда жизни — там, на Востоке, на родных просторах, а не здесь — в Париже.

Если вычесть и это из общей суммы слагаемых, составлявших русское зарубежье после того, как от него откололась многотысячная масса репатриантов, то останется некоторое количество людей, которые ничему не научились даже после грозных событий 1941—1945 годов и которые составили в зарубежье умирающую кучку неисправимых поборников потонувшего мира. Они твердили, что победу одержал в войне не Советский Союз, а русский народ, который в основной своей массе якобы враждебно настроен к политической и государственной системе, существующей в Советском Союзе, и что с окончанием войны эта существовавшая в их эмигрантском воображении враждебность будет расти и шириться.

Тем не менее в первый год после Победы все открытые противосоветские выступления людей этого толка прекратились. Жизнь «советского Парижа» катилась теперь совсем по другим рельсам. Но продолжалось это недолго.

В 1946 году подготовлявшаяся в тайниках государств капиталистического лагеря «холодная война» всплыла на поверхность международной политической жизни. Она увлекла с собою среди прочих элементов и всех тех русских зарубежников, у которых не хватило силы воли порвать с прежней идеологией. Случилось это внезапно, точно по команде или по взмаху палочки невидимого дирижера.

Из гроба встали давным-давно похороненные реальной жизнью мертвецы. Они заговорили сразу и все вместе. Они подали друг другу руки и выкинули покрывшийся плесенью флаг с начертанным на нем лозунгом: «Борьба с Советской властью до победного конца!»

Из-за океана подал голос Керенский. Там же завозилась с объединением всех противосоветских элементов графиня Толстая. В Нью-Йорке и Буэнос-Айресе появились союзы и лиги антисоветских активистов.

«Братья вольные каменщики»[1] по указанию своих «досточтимых» прекратили пение дифирамбов Советскому Союзу и перестали кланяться при встрече с репатриантами. Духовенство и миряне, руководившие парижским богословским институтом, поспешили порвать связь с Московской патриархией. Руководители церковной жизни парижского кафедрального собора на улице Дарю предали анафеме «отступников», связавшихся с Москвой.

Вчерашние лжепатриоты в один миг отмежевались от своих бывших друзей, приятелей, знакомых, у которых в кармане был советский паспорт. На улице Ампер открылось какое-то «общество помощи беженцам интеллигентных профессий русского происхождения», взявшее на учет сотни «невозвращенцев» и выдававшее ежемесячно каждому из них по 4 тысячи франков безвозвратного пособия. Те из старых эмигрантов, которые решили навсегда остаться в антисоветском лагере, вдруг стали получать из-за океана продовольственные и вещевые посылки. Организации шовинистически настроенных украинцев-«самостийников» и грузин подняли головы. Вновь созданная в Париже на средства Ватикана реакционная газетка на русском языке приступила к систематической антисоветской пропаганде и травле репатриантов. Вслед за нею устремились на это поприще все колеблющиеся элементы бывшего «русского Парижа». Кругом слыша-

[1] «Братья вольные каменщики»— масоны, члены тайных и полутайных организаций, которые под прикрытием мистических ритуалов и рассуждений о необходимости «морального совершенства человечества» действуют в интересах международного финансового капитала.

лось более ничем не сдерживаемое злобное шипение, а сквозь него слух улавливал мягкое шуршание долларовых кредиток.

Иностранные разведки принялись за работу. Всеми средствами они старались помешать начавшейся после Победы репатриации старых и новых советских граждан. Вскоре эти последние ясно увидели, что в префектурах Парижа и провинции им начали чинить всевозможные препятствия к выдаче необходимых для выезда из Франции документов.

Надо думать, что не без благословения одной из иностранных разведок подготовлялся диверсионный акт против советского теплохода с сотнями репатриантов во время стоянки его в порту Александрии по пути из Марселя в Одессу.

В Черном море сгорел другой теплоход, перевозивший 2 тысячи новых советских граждан — бывших так называемых «армянских беженцев». Расследование установило также наличие преднамеренного диверсионного акта. К счастью, пожар, вызванный зажигательным аппаратом замедленного действия, произошел на этом теплоходе шесть часов спустя после высадки в Батуми почти всех его пассажиров, уже на пути Батуми — Одесса. Об этом в свое время писалось в советских газетах.

Не нужно было иметь какой-то особо проницательный глаз, чтобы видеть, что возвращение всех вышеперечисленных категорий советских граждан, составлявших людскую массу в общей сложности в несколько сот тысяч человек, стало поперек горла верхушке, которая управляла и управляет государствами капиталистического мира. Одним из козырей своей пропаганды, направленной против стран социалистического лагеря с Советским Союзом во главе, она сделала легенду, будто бы из этих стран бегут все, кто только может, и что все многочисленные уроженцы Советского Союза, находящиеся за границей, якобы раз и навсегда отказались от возвращения на родину, пока у власти стоят коммунисты.

Но эта антисоветская пропаганда при всем желании не могла утаить массовый добровольный отъезд в СССР сотен тысяч людей. Поэтому ей нужно было сделать все

возможное, чтобы его сорвать. Одновременно нужно было спешно создать зарубежный фантом «русского народа».

Отсюда — задабривание одних, запугивание других, насильственное задержание третьих, подкуп четвертых...

Большое участие в этой кампании приняла масонская организация. Послушные рабы, исполнители воли верховного органа масонства, через промежуточные инстанции первичных лож русские зарубежные масоны первыми выдали эту тайну.

Еще вчера они восхваляли Советский Союз, восхищались его силой, величием и мощью. И вдруг они все сразу повернули «фронт» на 180 градусов. По всем масонским ложам дана была команда, смысл которой в общих чертах сводился к следующему: «Считать врагом каждого, кто активно или пассивно, вольно или невольно, словом, делом или помышлением поддерживает Советский Союз».

В годы войны мне чуть ли не ежедневно приходилось бывать в семье второразрядного эмигрантского писателя Г-ра. Будучи однажды взят под подозрение парижским филиалом гестапо, он до самого конца оккупации ждал ареста. Тем не менее он написал за это время несколько поэм и рассказов, посвященных героизму советских людей, грядущей победе и жертвам, павшим в борьбе. Печататься он, конечно, не мог, но в рукописном виде несколько экземпляров его сочинений ходило по рукам эмигрантов. Они пользовались большим успехом.

Мне было известно от третьих лиц, что он состоит секретарем масонской ложи «Юпитер», хотя с ним самим я никогда на эту тему не говорил.

В день получения мною советского паспорта супруги Г-р горячо меня поздравляли. Они восхваляли до небес Советский Союз и советский народ — победитель. В те дни, как и в последующие месяцы, все новые советские граждане, как я уже упоминал, были «именинниками» и находились в центре внимания не только бывшего «русского Парижа», но и самых широких кругов коренного населения французской столицы.

Осенью 1946 года ситуация резко изменилась. Однажды, придя в эту семью, я встретил холодные и вытянутые лица обоих супругов, а в их речах услышал новые, по-

разившие меня мысли и слова: возвращение на родину — это «предательство и измена эмигрантским знаменам».

Я остолбенел и спросил, что все это значит? Куда девался вчерашний патриотизм обоих супругов? Как согласовать все сказанное с тем, что Г-р написал во время войны, в частности с поэмой о партизанке Оксане — лучшее, что вообще он написал за всю свою жизнь?

Он сухо ответил:

— Патриотизма не было. Было минутное увлечение и заблуждение. Теперь я прозрел. Поэма выброшена вот сюда (он показал на камин с тлевшими угольями). Я стыжусь своих писаний военной эпохи...

Мне ничего другого не оставалось делать, как сказать обоим супругам, что наши пути совершенно разошлись и что наше знакомство начиная с этой минуты я считаю прекращенным.

В тот же день я узнал, что сцены, подобные вышеописанной, разыгрывались и в других семьях, члены которых состояли в масонских ложах, и что все масоны при встрече на улице и в общественных местах со своими знакомыми-репатриантами отворачиваются от них и не отвечают на их приветствия.

Все последующие месяцы вплоть до отъезда из Франции основной массы репатриантов прошли в радостном волнении одних обитателей бывшего «русского Парижа» и в бешенстве, проклятиях и брани — других. «Холодная война» была в разгаре. Она расколола русское зарубежье на две части, переставшие понимать друг друга...

В конце лета 1947 года в посольстве СССР во Франции было получено постановление Совета Министров СССР об очередной отправке репатриантов, выразивших желание вернуться на родину.

Последние дни пребывания на чужбине были наполнены трудно передаваемой словами радостью и мыслями о предстоящей встрече с Большой землей и родным народом.

Это не была так называемая «лихорадка путешественников». Полностью понять это волнение и радость могут только те, кто когда-либо и по какой-либо причине был оторван от родины хотя бы на небольшой срок. Дыхание родной земли наполнило в те дни атмосферу «советского Парижа».



Собрание русских эмигрантов, принявших в Париже советское гражданство в 1947 году. Снимок любительский.

Наконец настал долгожданный и вожделенный день отъезда. Среди полуторатысячной массы людей, которые в тот день покинули Францию, не было ни одного, кто на протяжении долгих лет не мечтал бы об этом моменте. Но едва ли хоть один из них представлял себе этот момент таким, каким он оказался в действительности.

Отправка репатриантов в своей организационной и технической части осуществлялась советской военной миссией во Франции. Погрузка в три отдельных поезда производилась одновременно в трех местах: Париже, Центральном районе и на юге Франции.

Затянутое облаками небо в тот день прояснилось. С утра из всех мест расселения «советского Парижа» потянулись в направлении Восточного вокзала грузовики, наполненные несложным домашним скарбом репатриантов. Для погрузки был отведен целиком специальный перрон с непосредственным выходом на улицу. Погрузка шла весь день.

К 4 часам дня на вокзал стали понемногу собираться друзья, приятели, знакомые, бывшие сослуживцы отъезжающих. Запоздавшие подъезжали и подходили к вокзалу до позднего вечера.

Волнение среди и отъезжающих, и провожающих нарастало. На проводы пришли и многие недруги Советского Союза. За 30 лет, проведенных в эмиграции, и репатрианты, и не пожелавшие вернуться домой люди видели всякие виды, пережили разного рода эвакуации, отъезды и переезды. Но массового возвращения на родину никто из них не видел никогда.

За два часа до отъезда на Восточный вокзал прибыли все сотрудники советского посольства, консульства и военной миссии. Громадный перрон еле вместил трехтысячную толпу провожающих. Среди них — множество фотографов, кинооператоров, репортеров. Балконы окружающих домов чернели от заполнивших их зрителей-парижан.

Цветы, подарки, крепкие дружеские рукопожатия и объятия, последние поцелуи, напутствия, пожелания...

Общее волнение достигает апогея.

Раздается сигнал к отправке. Громкое «Ура!» оглашает воздух. Поезд медленно трогается. Перед окнами вагонов плывет людская масса провожающих. У многих на глазах слезы. Величие момента переживают все — и уезжающие, и остающиеся...

Мелькают фонари, стрелки, железнодорожные будки. Постепенно отдаляется темный массив домов.

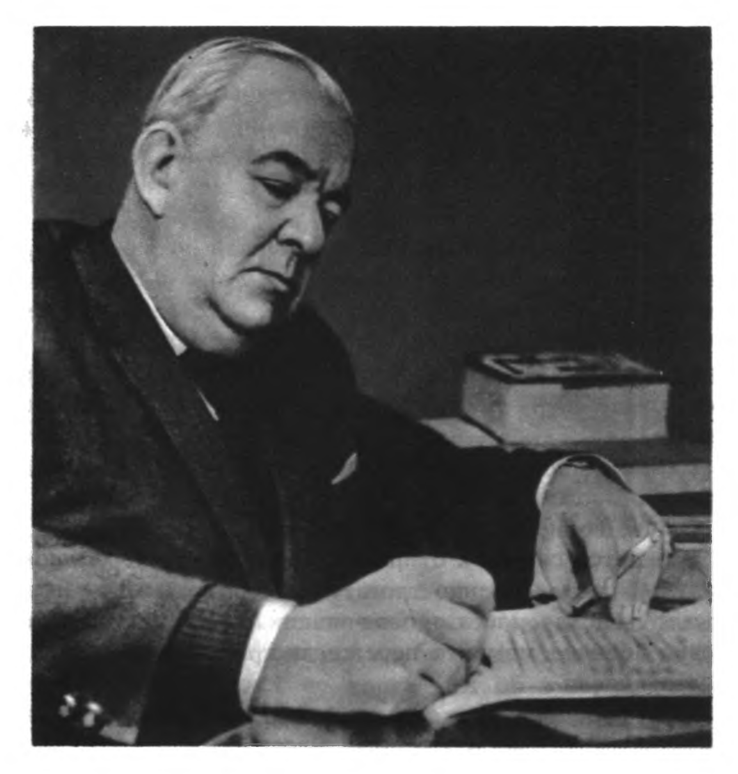
Прощай, Париж, прекрасный город, надолго приютивший нас, но оставшийся чужим!

Утро следующего дня застает репатриантов на вокзале пограничного городка в Эльзас-Лотарингии. Все три поезда собираются вместе.

Здесь пересадка в вагоны из Советской зоны оккупации Германии.

Наступают последние минуты пребывания на французской земле. Возле узкого прохода между проволочными заграждениями — группа жандармов, проверяющих выездные документы. В стоящие рядом два громадных ящика летят одна за другой carte d'identité. Более четверти века подряд эти удостоверения определяли юридическое лицо их владельцев.

В течение того же срока один только вид французских жандармов наводил ужас на приниженных и бесправных



Ученый и писатель Лев Дмитриевич Любимов много лет провел в эмиграции. Советские читатели хорошо знают его научные труды «Искусство древнего мира», «Искусство Древней Руси», «Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии», а также книгу воспоминаний «На чужбине».

эмигрантов. Сейчас они в глазах репатриантов не более как винтики чиновничьей машины.

Рядом стоит советский консул, а за ним — 200-милионный народ и гигантская мощь раскинувшегося на одну шестую часть земной поверхности государства.

Поезд трогается. Перед взором репатриантов — Германия. В окна вагонов видны руины городов, разрушенные вокзалы, сожженные склады, изрытые воронками поля.

...В ясный солнечный день поздней осени поезд убавляет ход, медленно движется по мосту. На одном берегу —

польский пограничник, на другом — советский. На советской стороне — арка, украшенная алыми стягами.

Поезд останавливается. Вот он — заветный рубеж!

Кругом — знакомая с детства, родная и дорогая сердцу картина: луга, пригорки, перелески, вьющаяся серебряной лентой речушка, деревенские избы; на горизонте — синева лесов.

Все до одного высыпают из вагонов. Головы обнажаются. Слезы туманят взор. Слов не слышно. И не нужны они: никакими словами не передашь и тысячной доли того, что переживают люди...

Человеку дано много радостей. На своем жизненном пути он много раз достигает поставленных целей: беззаветно служить обществу; занять высокое положение в этом обществе; достичь вершин героизма в труде и успехов в творчестве; совершить научные открытия; обрести личное счастье; добиться славы, полной материальной обеспеченности и многое другое.

Каждая из этих целей влечет человека к себе как магнит, заставляет преодолевать поставленные судьбою преграды и приводит его к минутам величайшего торжества, когда эта цель достигнута.

Но есть один совершенно особенный магнит, сильнее всех остальных, существующих на свете. Без него жизнь перестает быть жизнью, превращаясь в жалкое прозябание и духовную смерть.

Никакие силы мира не могут и никогда не смогут преодолеть силы притяжения этого магнита.

Имя ему — Родная Земля.

АРМАН МАНАРЯН: «В Армении сбылись мои мечты»

Горестную предысторию имеет современное армянское зарубежье. В конце XIX и начале XX в. армянский народ пережил страшную трагедию. В этот период в Османской империи было зверски истреблено около двух миллионов армян. Чудом спасшееся от резни население Западной Армении, находившееся под господством Турции, поселилось частично в Восточной Армении (нынешней Советской Армении), а большая часть рассыпалась по всему миру. Вот уже более 60 лет, как в армянском словаре существует новое слово «спюрк», означающее «рассеянное по всему миру армянство».

Таким образом, «спюрк» — это не эмигранты, а люди, насильственно оторванные от родной земли. Отсюда привязанность подавляющего большинства зарубежных армян к своей Родине и постоянное внимание Советского правительства к судьбе зарубежных армян.

Сразу после Октябрьской революции, в декабре 1917 года, В. И. Ленин специально занимался вопросом западных армян. Чрезвычайному комиссару по делам Кавказа Степану Шаумяну поручалось оказывать всяческое содействие армянам-беженцам, «насильственно выселенным во время войны турецкими властями». Молодая Советская Россия приютила десятки тысяч армянских беженцев на Северном Кавказе, в Крыму и других частях страны.

При огромной помощи русского народа Армения, в прошлом отсталая и разоренная, за годы Советской власти превратилась в цветущую социалистическую республику. Недавно скончавшийся всемирно известный американский писатель армянского происхождения Уильям Сароян писал: «Советская Армения — это, на мой взгляд, один из лучших аргументов для СССР».

Все теснее становятся связи зарубежных армян, проживающих в более чем 60 странах мира, со своей социалистической родиной. На родную землю возвратились более 250 тысяч армян. При Совете Министров Армянской ССР создан Комитет по приему и устройству возвращающихся из-за границы армян, а также общественная организация — Комитет по культурным связям с армянами за рубежом.

«Советская Армения всегда проявляет заботу о трудящихся армянах, волею судеб оказавшихся на чужбине,— отметил на XXVII съезде Ком-

партии республики первый секретарь ЦК Компартии Армении К. С. Демирчян,— ярким свидетельством этой заботы является продолжающаяся репатриация армян из-за рубежа. Став полноправными гражданами Советского Союза, они вносят свой достойный вклад в развитие экономики, культуры и науки республики».

Народные артисты СССР Гоар Гаспарян и Оганес Чекиджян, профессор-медик Завен Долобчян и писатель Карпис Суренян, композитор Тигран Мансурян и архитектор Армен Зарян, искусствовед Никогаес Таглизян и многие, многие другие... Имена этих людей, обретших Родину, ныне известны далеко за пределами Советской Армении.

О судьбе семьи Манарян рассказывается в очерке журналистов Л. Мезинова и В. Чуканова «Отцовский дом», опубликованном в журнале «Отчизна» Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом (№ 8, 1978 г.).

Отцовский дом

По крутой лесенке, сложенной из обломков грубого, нетесаного камня, поднимаемся в гору — к небольшому домику, утонувшему в пышной южной зелени. Пожилая женщина в темном платке — хозяйка дома — встречает нас на пороге.

— Входите, пожалуйста,— приветливо приглашает гостей Евгения Акоповна Манарян.

Гостиная — большая комната с неизменным ковром и традиционным телевизором, пожалуй, ничем не отличается от других, уже виденных нами в домах ереванцев. А вот следующая, поменьше... В строгом порядке выстроились на книжной полке фолианты в тяжелых переплетах, теснятся на стенке фотографии, изображающие одного и того же человека — только в разных костюмах, в разной обстановке. Аккуратно разложены на столе письменные принадлежности, чуть приоткрыта старинная, красивая шкатулка... Кажется, еще минута — и сам хозяин войдет в эту уютную комнату, сядет за этот удобный стол. Трудно поверить, глядя на это обжитое, как будто еще хранящее человеческое, хозяйское тепло место, в невероятный на первый взгляд факт — муж Евгении Акоповны, армянский артист Христофор Манарян, никогда не переступал порога этого дома.

Христофор Манарян умер спустя два месяца после возвращения на родную землю. Туберкулез, «заработанный»

7—875

в Иране, свершил свое черное дело. Сурово обошлась судьба с этим человеком. Десятилетия прожил он на чужбине. И только два последних месяца — шестьдесят коротких, как мгновение, дней — провел на родной земле.

Случись такая беда с его семьей там, в Иране,— и оставшиеся без кормильца вдова с детьми пошли бы по миру. Другое дело у себя, в Армении... Евгения Акоповна получила от государства безвозмездную денежную помощь. Большая часть ее пошла на устройство семейного гнезда, постройку дома в Ереване. Трудно сейчас припомнить, кто из родных первым назвал этот дом отцовским. Вернее всего, что такое название сорвалось со скорбных уст Евгении Акоповны, надевшей вечный траур по самому дорогому для нее человеку. И случилось это, наверное, в те радостные часы, когда строители завезли камень для фундамента нового дома. Так смешались в одном сердце горе и счастье, в одной душе боль и исцеление... С того памятного дня отцовским называют свой дом дети Христофора Ерванд и Арман. Родным стал небольшой домишко на окраине Еревана и детям детей — внукам...



Братья Эрванд и Арман Манарян обрели родину в Советской Армении. Фото Д. Ухтомского.

...Тихо в отцовском доме. Но так будет только до того часа, когда вернутся из школы малыши и дом наполнится шумом и беготней, веселым смехом. Выросла семья, и отцовский дом стал тесен для всех Манарянов. Получил квартиру и переехал в новый дом младший сын Арман. С бабушкой осталась семья старшего сына Ерванда.

Ерванд вошел в комнату, как всегда, бесшумно, стараясь не обращать на себя внимания. Застенчиво остановился в дверях, откинул голову с пышной, седеющей шевелюрой. И, прислушиваясь к разговору, заулыбался одними глазами...

Редкая у Ерванда улыбка — мягкая, доброжелательная. На такую улыбку нельзя не ответить улыбкой. Очевидно, это прекрасно усвоили кинорежиссеры. По крайней мере выпускник Всесоюзного Государственного института кинематографии Ерванд Манарян не испытывает недостатка в приглашениях на новые интересные роли.

Постоянно не укладывается в прокрустово ложе рабочего дня младший брат Арман, тоже кинематографист, который пошел по стопам отца и старшего брата.

Арман — один из ведущих режиссеров республиканской киностудии «Арменфильм». Его день постоянно расписан, забит до отказа неотложными и наиважнейшими делами. Трудно вырываться ему сюда, в теплоту отцовского дома... То задержится на съемках нового фильма. То завязнет в институте — занятия, прием экзаменов у студентов — будущих кинорежиссеров Армении. То засидится, забыв о времени, за письменным столом — колдует над сценарием будущего фильма. Кстати, свой последний фильм Арман снял по сценарию брата, Ерванда. Познакомиться с этой новой работой братьев Манарян и предстоит нам сегодня.

...Подобно ветру врывается не ведающий усталости Арман в тихую комнату отцовского дома.

— Поехали! Машина киностудии ждет.

Евгения Акоповна провожает нас до самых дверей.

— Передайте поклон брату Левону,— напутствует хозяйка отцовского дома сыновей.— Если здоровье позволяет, пусть приезжает в Ереван.

— Дядя Левон живет в колхозе «Норкянк»,— поясняет Ерванд.— Это недалеко от Еревана...

— Разве мы едем не на просмотр вашего фильма?

— Ничего, успеем и фильм посмотреть,— Арман деловито швыряет толстенный портфель на заднее сиденье.— А теперь в путь...

— ...Колхоз «Норкянк» близко,— с уверенностью заявил шофер нашей «киносъемочной», указывая на парящую в небе крупную птицу. Машина свернула с шоссе и двинулась по проселочной дороге вслед за летящим над землей аистом.

Возле двухэтажного дома-коттеджа аист благополучно приземлился прямо на верхушку высокого дерева. Мы вышли из машины, с любопытством разглядывая село, где так привольно живется птице, появление которой считается в народе хорошим предзнаменованием, признаком прочного семейного очага.

— Не так-то просто подружиться с аистом,— заулыбался наш шофер.— С характером птица, где попало селиться не будет. Все натуральное любит — дерево, камни. Некоторые местные чудаки специально из-за этого на крыши камыш настилают. Считают, что аист приносит дому счастье...

Домовитые птицы появились в этих местах с первыми поселенцами. Сразу же после Великой Отечественной войны в Армению возвратилась целая группа армян из Ирана. Поселившись на этой земле, репатрианты засеяли поля, разбили виноградники. Так возник колхоз «Норкянк», что в переводе на русский язык означает «Новая жизнь». С тех пор аисты ежегодно прилетают в «Норкянк». Они вьют гнезда на деревьях и крышах домов, выводят птенцов.

И люди прочно обосновались в этих местах. Работают, выращивают фрукты и овощи, играют свадьбы с обильным застольем.

Пожалуй, только старики и вспоминают о старом житье-бытье по ту сторону границы. Молодежь не знает, не была в Иране. Их дом, их аисты — здесь, в «Норкянке».

Братья Манарян хорошо известны в колхозе. Помнят и их отца, Христофора. Вместе, в одной стае, возвращались домой, летели на Родину... Среди первых поселенцев «Норкянка» был дядя Ерванда и Армана — Левон. Сейчас он на пенсии.

Дом дяди Левона накрыт камышовой крышей. И это, пожалуй, его единственное отличие от современного, городского дома. К тому же мало кто из горожан может похвастаться таким количеством жилой площади...

В доме дяди Левона угощают армянскими и иранскими блюдами. Необыкновенно вкусна какая-то запеканка из овощей и зелени — ее рецепт вывезен хозяином из Ирана. И все-таки главное угощение на столе — простой армянский мацун — освежающий молочный напиток, нечто среднее между кефиром и простоквашей. Мацун едят перед обедом, им сопровождают каждое блюдо.

— Как здоровье, дядя Левон?

— Спасибо. Ешьте, детки, ешьте...

— Скоро ли к нам, в Ереван?

— Спасибо, приеду. Ешьте, пожалуйста...

— А как с нашим делом?

— Все в порядке, не волнуйтесь. Поешьте сначала.

Выясняется, что дело, о котором зашел разговор за обедом, касается всех нас. Сегодня в колхозе «Норкянк» состоится премьера художественного фильма братьев Манарян. Приглашаются все жители села. В назначенный час колхозный клуб полнится народом. Зрители от мала и до велика с нетерпением ожидают начала. Появившихся авторов окликают по именам, отовсюду из рядов тянутся крепкие мозолистые руки, всем хочется поприветствовать Манарянов, снявших фильм о великом армянском озере Севан. Создатели фильма явно волнуются — как примут земляки из «Норкянка» их новую работу...

Вспыхивает экран, появляются заглавные титры. Перед глазами зрителей возникает безбрежная гладь голубого озера. Это — Севан, жемчужина Армении. Взволнованно, страстно рассказывает фильм «Белые берега» о прошлом, настоящем и будущем Севана, о людях, чьи жизни тесно переплелись с судьбой великого озера.

...Окончилась война, к домашним очагам вернулись три друга, три фронтовика. Инженеры по профессии, участвующие в большой стройке на озере Севан, трое друзей живут и трудятся во имя одной цели — блага своей земли, своего народа. Они горят желанием помочь родному краю обрести достаток, счастливую жизнь. Но как добиться этого? Преж-

де всего дать воду иссушенным солнцем полям, добыть электроэнергию для промышленных предприятий, индустрии республики. Инженеры понимают: только Севан с его крупными водными ресурсами в силах дать все это людям. В то же время судьба жемчужины Армении не может не волновать героев фильма. Не оскудеет ли голубая чаша озера, не обмелеет ли Севан? В горячем споре о судьбе Севана сталкиваются разные точки зрения, разные жизненные позиции.

Прошли годы. На Севане построен Разданский каскад гидроэлектростанций. Поля Армении напоены водой... Но спор, начатый на берегу озера тремя друзьями, еще не окончен. Итог ему должна подвести сама жизнь. В заботе о будущности озера предпринимается дело огромной важности — строительство тоннеля Арпа — Севан. Воды горной реки Арпы будут направлены в Севан. Умные, добрые руки людей не дадут обмелеть Севану, сохранят его красоту для будущих поколений.

Ради этой благородной цели трудятся, живут, борются и побеждают герои фильма «Белые берега», снятого молодыми армянскими кинематографистами, сыновьями репатрианта Христофора Манаряна.

...Когда в зале вновь вспыхнул свет и глаза зрителей устремились к заднему ряду, туда, где томились, ожидая строгого нелицеприятного суда земляков Арман и Ерванд, со своего места поднялся, опираясь на палку, высокий и худой старик...

— Мы вернулись в Армению сразу же после войны,— задумчиво сказал дядя Левон.— Трудные это были времена. Война принесла разруху, бедность. И все-таки мы строили свой «Норкянк», свою новую жизнь. Наш колхоз поднялся и расцвел на севанской воде. Что было бы с нами, нашими детьми и внуками, если бы Севан не поделился с нами своей водой? Но сейчас настал час вернуть долг отцу-Севану. Люди из вашего фильма — такие же простые люди, как мы. Но делают они дело, которое по плечу разве что сказочным богатырям! Мы видели, как пробивали они грудь скалы, как упорно вгрызались в камень, отважно боролись с водой. И все это ради нас, ради нашего Севана, нашей Армении. Честь же и хвала этим людям... Спасибо

и вам, дети мои, за то, что вы рассказали нам о них.

Заполночь уезжали мы из колхоза «Норкянк». Один за другим гасли огни в колхозных домах. Лишь где-то высоко, в ветвях огромного дерева все еще ворочался и хлопал крыльями полуночник-аист, птица, вьющая свое гнездо рядом с добрым и покойным домом.

— Наше детство прошло далеко отсюда, в Иране. Немного было у нас друзей. Ведь мы, армяне,— рассказывал Арман,— считались там чужаками, отец утешал нас, как мог. Он говорил: подождите, вернемся домой, заживем совсем по-другому... В Иране я прочитал свою первую армянскую книжку, посмотрел первый фильм. Это был «гиньоль»— фильм ужасов. Я был совсем малышом. Всю ночь не мог уснуть, вскакивал с постели, звал мать. Мне не очень нравилось кино, зато музыку я мог слушать часами. Мечтал выучиться на музыканта. Здесь, на Родине, и сбылась моя мечта. Я поступил учиться в Ленинградскую консерваторию, на дирижерское отделение. Но дирижером так и не стал... Помешало, как ни странно, именно кино. Вот как это случилось. Уже студентом приехал я из Ленинграда в Москву. Случайно увидел объявление об очередном наборе во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Время у меня было. И я решил рискнуть, попробовать свои силы. Отношения с кинематографом у меня, можно сказать, наладились — в Советском Союзе я посмотрел много хороших фильмов, революционную классику, ленты современных советских мастеров. Просиживая часами в зрительном зале кинотеатра, я часто воображал себя в разных ролях. А когда подробнее узнал о работе режиссера фильма, стал сравнивать ее со своей будущей дирижерской профессией. Между прочим, я и до сих пор считаю, что у них много общего... Но главным, конечно, было не это. Честно говоря, когда я прочитал объявление, меня прямо-таки ошеломила одна простая мысль. Мысль о том, что я могу избрать себе другую профессию. В тот момент я даже не знал, хочу ли я этого. Было только ощущение всемогущества... Могу — и все тут! Нет-нет, не кивайте головами. По-настоящему меня может понять только тот, кто жил в мире, где не человек выбирает профессию, а профессия — человека. А потом случилось неожидан-

ное — я выдержал конкурс и был принят на первый курс режиссерского факультета ВГИКа. Так я стал кинематографистом. И теперь, когда я слышу о праве каждого советского человека на образование, праве, закрепленном Конституцией СССР, я знаю — это не просто красивые слова. Вся моя судьба — подтверждение этим словам. И судьба Ерванда, и сотен наших земляков из «Норкянка»...

Мы замолчали в раздумье. За окнами автомобиля уже мелькали уличные фонари, вывески магазинов, названия гостиниц — огни ночного Еревана.

СЕРГЕЙ КОНЕНКОВ: «Я не чувствовал себя иностранцем»

В 1964 году Президиум Верховного Совета СССР впервые присвоил высшее звание Героя Социалистического Труда деятелю искусства. Им стал знаменитый скульптор Сергей Тимофеевич Коненков (1874—1971). Из приведенных дат видно, что Коненков был редким долгожителем. Он родился через двенадцать лет после отмены крепостного права, в царствование Александра II, и на три года пережил первого космонавта планеты Юрия Гагарина, своего знакомого, своего земляка, также происходившего из смоленских крестьян! 97 лет прожил Коненков, из них 22 года — на Западе. Вот как описывает он свой отъезд в книге воспоминаний «Мой век», откуда взята и публикуемая ниже глава:

«В декабре 1923 года я уезжал в Америку, как оказалось, надолго. Поездка была устроена Комитетом по организации заграничных выставок и артистических турне. Цель поездки — пропаганда русского советского искусства...»

Коненков вспоминает, что друзья-художники вручили ему при проводах полушутливую грамоту-напутствие, в которой говорилось: «Сейчас Вы покидаете нас и Родину для более широкой деятельности перед лицом Нового и Старого Света. Мы уверены, что Вы покажете, какие силы таятся в недрах России. Эта мысль смягчает горечь разлуки с Вами и родит надежду увидеть Вас снова в нашей среде тем же дорогим товарищем, но венчанным мировой славой». Так в конце концов и получилось, но ни провожающие, ни сам скульптор не предполагали, что разлучаются почти на четверть века.

Итак, Коненков не был эмигрантом де-юре, тем более «беженцем», но кем же он был — эмигрантом де-факто? Но конечно, никто никогда не имел никаких оснований причислять его к белой эмиграции. Коненков — автор созданных еще в царские времена произведений, воспевающих революцию и революционеров, горячо приветствовал Октябрь и глубоко почитал Ленина. К образу Ленина скульптор обращался неоднократно — в том числе и во время жизни в США.

О том, при каких обстоятельствах и с какими чувствами Сергей Коненков вернулся в СССР, вы прочитаете в публикуемой здесь главе из книги его воспоминаний. Но прежде, думается, надо обратить внимание

читателя на то, что история Коненкова не уникальна в том смысле, что были и другие эмигранты де-факто. К их числу принадлежит другой знаменитый скульптор, Степан Эрьзя, которому посвящена отдельная глава этого сборника.

Многие знают, что на Западе долго жил выдающийся композитор Сергей Прокофьев (1891—1953). Возможно, однако, что не всем известны обстоятельства его отъезда и мотивы возвращения на Родину. Подобно Коненкову, Прокофьев уехал вполне официально, с советским паспортом. Уехал, как было указано в его документах, «по делам искусства и для поправления здоровья». Он пробыл за рубежом восемнадцать лет (1918—1936).

В отличие от Коненкова, Прокофьев революцию встретил равнодушно, а трудности революционной эпохи воспринимал как бытовые помехи привычному ритму работы. Внутренней же связи событий со своим творчеством он сначала не почувствовал. Но ее чувствовали более зоркие люди, в частности нарком Луначарский, который сказал композитору перед его отъездом:

— Вы революционер в музыке, а мы — в жизни,— нам надо работать вместе. Но если вы хотите ехать в Америку, я не буду ставить вам препятствий.

«Революционер в музыке»— слова видного деятеля большевистской партии. История искусства знает немало случаев, когда сами авторы позже других осознавали истинный смысл своих творений. Прокофьеву, очевидно, мешала неискушенность в политике, свойственная многим интеллигентам его поколения. Не у всех она проходит, но у Прокофьева — прошла. Перебравшись из США в Париж, в сердце культурного русского зарубежья, композитор восстанавливает тесные личные и, главное, творческие связи с Родиной. Несколько раз он совершает поездки в СССР, а в 1936 году окончательно возвращается на Родину. Перед отъездом он сказал своему другу, французу:

— Воздух чужбины не идет впрок моему вдохновению, потому что я русский, а самое неподходящее для такого человека, как я, это жить в изгнании, оставаться в духовном климате, который не соответствует моей нации. Мои земляки и я носим свою землю с собой. Конечно, не всю, а только совсем немного — ровно столько, сколько сначала делает немножко больно, потом все больше, больше и больше, пока это нас не сломит. Вы не можете это понять до конца, потому что вы не знаете землю моей Родины... Я должен вернуться в атмосферу родной земли... В ушах моих должна звучать русская речь, я должен говорить с людьми моей плоти и крови, чтобы они вернули мне то, чего мне здесь недостает: свои песни, мои песни. Здесь я лишаюсь сил.

Как тут не вспомнить признание Рахманинова американскому журналисту: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний».

К приведенным выше словам Прокофьева надо добавить, что звала его на Родину не только ностальгия и ощущение своей чужеродности на

Западе. Он живо интересовался международными событиями — а они делались все тревожнее. Фашизм пришел к власти в Германии и готовился к войне. В число запрещенных в третьем рейхе авторов попал и Прокофьев.

Самые лучшие, самые зрелые свои вещи композитор написал в СССР: «Ромео и Джульетту», «Золушку», «Войну и мир», «Каменный цветок», последние симфонии и сонаты. Особо следует отметить его музыку для кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Чевский» (1938). Здесь он создал музыкальный образ фашистского нашествия, предвосхитив Ленинградскую симфонию Шостаковича.

И наконец, еще об одном человеке, который, подобно Прокофьеву, эмигрантом не был,— о Валентине Федоровиче Булгакове. «Покинув в 1923 году Москву, я долго жил в Чехословакии, продлевая ежегодно мой заграничный паспорт в Советском консульстве в Праге»,— так сказал сам В. Ф. Булгаков в одной из своих книг. Валентин Федорович был известен всему культурному миру как секретарь и ближайший свидетель последнего периода жизни Льва Толстого. Организатор музея великого писателя в Москве, крупный филолог, автор многих книг, Булгаков не порывал связи с Родиной. Живя за границей, он собирает материалы о Толстом и пересылает их в московский музей. Энтузиаст отечественной культуры, Булгаков с болью наблюдал, как растекаются по зарубежным частным собраниям, а иной раз и пропадают художественные ценности, вывезенные из России. Чтобы сохранить для Родины хотя бы часть этого наследия, Булгаков в 1934 году организовал в предместье Праги Русский культурно-исторический музей. «Музей в Праге собирал произведения всех русских художников, в его уставе значилось, что в будущем коллекции должны быть перенесены в Россию как русское национальное достояние (что и было сделано в 1948 году)»,— рассказывает Булгаков об этом своем детище. В 1937 году он предпринял поездку в Париж, где собралось много художников-эмигрантов. «Я вывез из Парижа более семидесяти картин и рисунков, несколько скульптурных произведений, много книг, рукописей и других материалов»,— вспоминает Валентин Федорович. Эта экспедиция Булгакова выявила отношение эмигрантов к покинутой Родине. Ведь Булгаков предлагал каждому художнику безвозмездно пожертвовать (средствами он не располагал) в музей какое-нибудь свое произведение — с тем, чтобы оно впоследствии было передано Советскому Союзу. И вот что характерно: картины дали все. (Исключение составляет один Константин Сомов.) В дар музею жертвовали и те, кто, подобно Александру Бенуа, жил в достатке, и те, кто бедствовал, подобно Константину Коровину. Подарили свои работы музею, а значит, и Родине Мстислав Добужинский, Наталья Гончарова, Петр Нилус, Борис Григорьев и другие. Переслал в Прагу из далекой Индии щедрый дар Николай Рерих, который никогда не считал себя отделенным от родной страны. Музей в Праге постигла нелегкая участь. Немецкие фашисты разгромили его, но часть коллекции уцелела — в том числе более ста пятидесяти картин. Согласно музейному уставу, это собрание было передано Советскому Союзу. Страшные испытания выпали и на долю Булгакова и его семьи. 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, он был арестован гестапо и четыре года провел в фашистских концлагерях. Дочь ученого после пыток в пражской тюрьме гестапо также была отправлена в концлагерь и, как и отец, дожда-

лась освобождения. В 1948 году В. Ф. Булгаков вернулся на Родину — после 25-летней разлуки. Мы сочли необходимым предварить главу из воспоминаний Коненкова этим вступлением, чтобы показать читателю некоторые малоизвестные стороны жизни «русского зарубежья», прежде всего художественной интеллигенции.

Воспоминания С. Коненкова «Мой век» изданы в Москве в 1972 г. Любопытно, что, по словам самого скульптора, они написаны по просьбе читателей, горячо принявших его первую книгу «Земля и люди» (Москва, 1968).

Здравствуй, Родина!

22 июня 1941 года огромные буквы газетных аншлагов известили мир о том, что Гитлер совершил вероломное нападение, на территории Советского Союза идет война. С пачкой газет я возвращался домой. Лифтером у нас был аккуратный, добропорядочный немец, участник первой мировой войны. Он низко-низко поклонился мне, без единого слова открыл дверцу лифта, еще раз низко склонил голову.

В нашей квартире появилась большая карта. Я ежедневно прочитывал все сообщения о советско-германском фронте, опубликованные в нью-йоркских и советских газетах.

Прогрессивные организации рабочих — выходцев из России с первых дней войны стали объединяться в общество помощи Советскому Союзу. Меня выбрали почетным членом Центрального совета Русского комитета, мою жену Маргариту Ивановну пригласили на ответственную и хлопотливую должность ответственного секретаря комитета. На территории США возникло сорок отделений Комитета помощи Советской России, и Маргарита Ивановна большую часть времени проводила в дороге, совершая инструктивные объезды отделений. Ей приходилось два-три раза в день выступать на собраниях и митингах, отвечать за работу аппарата, насчитывавшего сотни сотрудников.

Комитет организовал сбор денежных пожертвований в фонд Красной Армии и готовил посылки в СССР. В посылках была одежда, медикаменты, мыло, сахар и другие вещи первой необходимости. Некоторое представление о размерах деятельности комитета дает такой факт. Только

в Нью-Йорке разбором, комплектованием одежды, предназначенной для посылок, занималось 500 человек.

Русские американцы по-разному относились к великому испытанию, выпавшему Советской России, и к деятельности Комитета помощи. Очень наглядно это можно было видеть на страницах трех издававшихся в Нью-Йорке русских газет.

«Русский голос»— прогрессивная рабочая газета — стал главным организатором помощи подвергшейся нападению фашистов Родине. Даже белогвардейское «Новое русское слово» не могло тогда не признать успехов Советской Армии. В газете довольно часто появлялись патриотические выступления. К слову сказать, одним из организаторов Комитета помощи был бывший генерал Яхонтов.

Монархическая газета «Россия», выражая настроения своих подписчиков, в открытую мечтала о гибели Советской России и клеветала на Комитет помощи. Пытаясь урезонить зарвавшихся монархистов, руководство комитета обратилось за помощью и советом к президенту Рузвельту. Тот дал ответ в духе американских обычаев и законов: «Не обращайте внимания».

Не помню, по какому случаю, но было такое дело: мы попали в гости к авиаконструктору Сикорскому — ярому монархисту. У него загородный дом с обсерваторией, «благовоспитанные» детки, без всякого повода рассуждавшие о том, что большевики сами едят, а маленьких детей морят голодом.

— Папа, ты сделай бомбу на них за то, что они сами пьют молоко, а детям не дают.

Такие «детские» рассуждения довелось мне услышать в доме заклятого врага Советского государства. Сам Сикорский с особой гордостью демонстрировал часы — подарок царя.

Вот из такого парника (и ему подобных) и брали рассаду люди, заинтересованные в разжигании вражды к СССР.

В итоге напряженной работы энтузиастов Миколаюка, Казущика, Яхонтова, Курнакова, Анны Торн, А. Блажиевского, Маринича, Бородина, Высоцкого и многих, многих других комитет завоевал широкое общественное признание.

В составе его почетных членов оказались Рахманинов и Тосканини, Сергей Кусевицкий и Михаил Чехов, композитор Гречанинов и певица Мария Куренко, князь Чавчавадзе и князь Сергей Голенищев-Кутузов, музыканты Цимбалист и Яша Хейфец, профессора Петрункевич и Флоринский, Карпович и Леонтьев.

Представьте себе, как сложно было сотрудничать со столь знаменитыми людьми. Чтобы найти сочувствие у стареющего консервативного Рахманинова, письма к нему печатались на машинке со старым русским алфавитом — нового он не признавал. Так или иначе, но Рахманинов загорелся, он выступил с замечательным концертом, собравшим весь Нью-Йорк, и пожелал передать сбор от концерта лично самому советскому консулу.

Здесь надо заметить, что за его внешней строгостью, сдержанностью и даже замкнутостью всегда было радостно ощущать глубину и доброту, пламя сильных чувств. Во время войны с фашистами Рахманинов болел душой за судьбу Родины. Говорил об этом с какой-то внутренней застенчивостью и проникновенностью, как о самом важном.

В 1942 году комитет отмечал 700-летие Ледового побоища, исторической битвы, в которой русское войско под командованием князя Александра Невского разгромило немецких интервентов. Выпустили значок: на овале, напоминающем русский щит, профили воинов князя Александра Невского в шлеме и советского солдата в каске. Фильм Эйзенштейна «Александр Невский» потряс всех. Меня поразили в этом фильме монументальность постановки, могучие, живые фигуры князя Александра и Васьки Буслаева в исполнении блистательных актеров — Черкасова и Охлопкова. Каждый из них — богатырь, каких не знало мировое искусство.

Я был захвачен музыкой Сергея Прокофьева и великой силой ясных и мудрых слов кантаты:

Вставайте, люди русские,
На смертный бой, на правый бой...

* * *

Незадолго до войны на выставке художника Давида Бурлюка я встретился с советским консулом в Нью-Йорке Базыкиным. Эта встреча очень меня обрадовала. Консул сообщил мне, что в Советском Союзе мною интересуются. «Почему же так поздно состоялась эта встреча?— думал я.— На целых пятнадцать лет затянулась разлука с Родиной. Почему я был недостаточно настойчив и не требовал ответа на свои письма к друзьям, которых я просил помочь мне с возвращением?»— упрекал я себя.

В. И. Базыкин взялся за оформление соответствующих бумаг, с ним я отправил в дар Советскому правительству бронзовую фигуру Ленина — один из многочисленных этюдов ленинского цикла, выполненных в годы жизни в США. Но нашему отъезду помешала война.

Как мы радовались первым успехам Красной Армии! Выстояла Москва, и фашистские орды повернули назад! Великая битва за Сталинград оказалась невиданным поражением гитлеровской армии. А летом 1943 года Красная Армия разбила танковые армады Гитлера на Курской дуге.

Победы советских войск вызвали во мне чувство восхищения. Я желал хоть как-то откликнуться на эти решающие события и принялся по газетным и журнальным фотографиям лепить портреты Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, И. С. Конева и Р. Я. Малиновского.

Одну только цель преследовал я, работая над портретами советских маршалов,— запечатлеть чувство великой благодарности всех патриотов Отечества.

Все чаще и чаще стал я наведываться в Советское консульство в Нью-Йорке, добиваясь разрешения на выезд в СССР.

Вопрос решился летом 1945 года, когда открылась возможность плыть без риска быть потопленными в океане. Начались сборы. Отъезд был назначен на конец сентября. Друзья и соратники по работе в Русском комитете устроили прощальный банкет. Газета прогрессивной русской общественности в Америке —«Русский голос»— поместила большой отчет, в котором писала:

«25 сентября в ресторане «Три Краунс» нью-йоркская русско-американская общественность провожала чету

Коненковых, в ближайшем будущем отъезжающих на Родину, в Советский Союз.

На банкет в честь знаменитого скульптора С. Т. Коненкова и супруги, славной общественной деятельницы Маргариты Ивановны Коненковой, прибыли представители всех русско-американских организаций, профсоюзов, клубов, взаимопомощных обществ, русские деятели науки и искусства.

Тостмейстером на банкете был Д. И. Казущик, сказавший краткое, прочувственное слово, воздавши должное Маргарите Ивановне Коненковой за ее неутомимую работу в «Рашен Уор Релиф» на помощь родному народу и отметив великие заслуги С. Т. Коненкова как выдающегося деятеля искусства. Затем он предоставил слово гостям и представителям общественности. В речах была отмечена работа Маргариты Ивановны в деле оказания помощи советскому народу, ее чуткость к запросам рабочих организаций, щедро и беззаветно жертвовавших всем, чем могли, ее готовность в любое время прийти на помощь всем, кто нуждался в ее добром совете и указании. Все это приковывало сердца русских американцев к Маргарите Ивановне Коненковой, завоевавшей уважение к себе и к той благородной работе, которой она отдалась всецело в сознании великого долга перед героическим родным народом, спасшим все передовое человечество от угрожавшего ему фашистского рабства».

«Теперь, когда вы уезжаете на далекую, но близкую всем нам Родину, мы вам завидуем: вы счастливая»,— напутствовал Маргариту Ивановну нью-йоркский отдел «Рашен Уор Релиф». А кое-кто попугивал: «Там, в Московии, вы замерзнете, как сосульки, и будете жить за занавесками».

Пароход «Смольный»— небольшое, водоизмещением в 5 тысяч тонн, судно — вышел из порта Сиэтл.

Целый месяц длилось плавание по морям и проливам северной и западной части Тихого океана. Зимние штормы и бури кидали «Смольный», как щепку. Пассажиры — ими были главным образом советские инженеры с семьями, работавшие в годы войны в США,— поголовно все страдали от морской болезни. На меня качка не действовала.

Долгие годы я жил страстным желанием увидеть Родину. И вот сбывается моя мечта. «Смольный» вошел в бухту Золотой Рог. Здравствуй, Родина!

Поезд Владивосток — Москва пересек великий Советский Союз с востока на запад. Впервые мне пришлось ощутить масштабы Родины. Впервые перед моими глазами развернулись во всей своей величавой красоте просторы Сибири, я увидел Урал, поклонился Волге.

12 декабря 1945 года мы вышли на перрон Ярославского вокзала и попали в объятия друзей. Ровно двадцать два года назад, 12 декабря 1923 года, друзья-москвичи провожали нас.

Здравствуй, Родина! Как счастлив я, встретившись с тобой! Теперь навсегда.

Шел снег. Вокруг были родные, добрые лица. Встречали нас старые друзья: Кончаловский — всей семьей, Игорь Эммануилович Грабарь, Алексей Викторович Щусев... Они приветствовали нас дружескими словами. Как всегда при добрых встречах, шутили, громко смеялись.

Первым нашим пристанищем в послевоенной Москве стала одноименная гостиница. Первым делом, за которое я взялся, как только расположился в отведенных нам помещениях прекрасного отеля, был поясной портрет Владимира Ильича Ленина —«В. И. Ленин выступает на Красной площади в 1918 году». Я вырубил говорящего Ленина в дереве. Я долго стоял на Красной площади, смотрел на мемориальную доску на Сенатской башне. (Эта мемориальная доска памяти павших героев Октябрьской революции была создана Коненковым и торжественно открыта В. И. Лениным в первую годовщину революции 7 ноября 1918 г.— *Ред.*) Я заново пережил великий в моей жизни день 7 ноября 1918 года, я слышал в себе ленинский голос: «...На долю павших в октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почесть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием...

Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму».

Ленинские слова звучали во мне как набат, как призыв всегда пламенно отстаивать завоевания революции.

Я пытался представить исторический военный парад 7 ноября 1941 года. И другой парад — парад победителей

8—875

в июне 1945 года. Во всем своем величии вставал передо мной новый человек — титан, победитель фашизма. Тогда же появились первые эскизы «Освобожденного человека».

Саму фигуру Самсона-победителя лепил уже в новой мастерской, куда перебрался из гостиницы весной 1947 года. Тут же при мастерской — жилые комнаты. Мастерская была оборудована в первом этаже большого дома на углу улицы Горького и Тверского бульвара. Из окон мастерской (до передвижки памятника в центр площади) был виден бронзовый Пушкин. Мне дорого было это самое близкое соседство. Кажется, протяни руку, и коснешься плеча Александра Сергеевича.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Как это емко, верно сказал Маяковский. И я очень скоро привык к Пушкину на Тверском. Утром, спускаясь в мастерскую, я обязательно бросал взгляд в окно и говорил про себя: «Здравствуй, Пушкин!» Ничего не поделаешь, созданный Опекушиным монумент располагает к душевным излияниям...

Не удержался и я от выражения чувств. На скульптурном станке появилась полуфигура Пушкина. Пушкин потянул за собой Маяковского. Будоражащий, ершистый, беспощадный к врагам Советской власти — таким он мне виделся. Конечно же, я лепил своего Маяковского — человека большого сердца, слабо защищенного внешней угрюмостью, напускной броней абсолютной уверенности в себе. А ждали кумира молодежи — и оттого приняли моего Маяковского как незнакомца, еще не показавшего добрых свойств характера. Зрителям импонировали открытые характеры, состояние внутренней озаренности, восторга перед жизнью. Таким вышел к людям мой Пушкин. Этими чертами привлекал вырубленный из мрамора Суриков.

С первых же дней мне понравилась мастерская: большая, светлая. Пространство ее можно было при необходимости гигантскими занавесями разделить на несколько частей. Помните, кое-кто из американских филистеров на прощанье предрекал: будете жить за занавесями, от холода превратитесь в сосульки. Ошиблись прорицатели! Дом у нас

теплый, уютный, а занавеси применяю только для того, чтобы по своему желанию уменьшить или увеличить пространство мастерской.

С великим воодушевлением работал я над фигурой гиганта — Самсона, в котором виделся мне образ родного народа. «Освобожденный человек» был исполнен в гипсе и тонирован под бронзу. Краска дала тон светлый, мажорный. Первые же посетители, увидевшие скульптуру у меня в мастерской, дали ей свое название —«Золотой человек».

На очередной Всесоюзной художественной выставке, которая состоялась в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, собравшийся на вернисаж народ аплодисментами приветствовал гиганта, простершего к небу могучие руки. Это окрылило меня. Я всегда доверял народному мнению больше, чем рассуждениям иных профессионалов, которые, кстати сказать, на этот раз отнеслись к моей большой работе скептически. Воодушевление людей при виде «Освобожденного человека» давало мне новые силы.

В августе 1947 года я собрался навестить деревню, где я родился, Караковичи. Говорили, что дороги разбиты войной и стали непроезжими, но мы отправились в путь. Ехали в сторону Рославля через Малоярославец, Медынь, Юхнов. Шла жатва. В лесах поспели орехи. В некоторых местах автомобиль наш с трудом выбирался из ям и колдобин, но в общем добрались успешно.

Прошедшая война на каждом шагу напоминала о себе. По обе стороны дороги многие деревья стояли со скошенными снарядами верхушками. На месте веселых деревень поросшие бурьяном пепелища да уныло торчащие над землей «фасады» убогих землянок. Кое-где начинали строиться: государство давало для этой цели ссуду. Конечно, сначала строили домики бедные, маленькие: только чтобы жить.

Когда подъезжали к Екимовичам, вспомнил Ивана Михайловича Куприна — камнебойца. Ивану Михайловичу я многим обязан. Он учил меня жить, учил с юношеских лет ненавидеть несправедливость и презирать тунеядцев.

Когда я сейчас обозреваю прожитое и совершенное, я не могу не помянуть добрым словом этого своего учителя жизни.

По пути к нашей коненковской усадьбе проезжали то место, где была когда-то пчельня Егора Андреевича. Этот расстриженный монах научил меня читать и писать. Он знал наизусть множество народных сказок и сказаний. Я без конца слушал его были и небылицы. Передо мной расстилались скатерти-самобранки, я летал на коврах-самолетах, восхищался Еруcланом Лазаревичем, Бовой-королевичем, слушал былины и сказки о славных русских богатырях. На пчельне Егора Андреевича запали мне в душу многие народные мечты и фантазии.

Мне довелось постранствовать по белу свету. Я пересекал океаны, в Риме и в Греции с восхищением созерцал шедевры античного искусства, проплыл вверх по Нилу половину Африки, жил в Америке. Но никогда не забывал о родной земле и часто в снах видел курганы над Десной и улицы Рославля, где, жадно учась, овладевал знаниями. Возвратившись в СССР, я ни одной минуты не чувствовал себя иностранцем. Все вокруг — и хорошее, и плохое, и радостное веселье, и тяжелое горе — было моим. За все я был в ответе, всем был заинтересован, все принимал близко к сердцу. И когда ко мне приставали с вопросами о том, какова советская жизнь, я недоумевал и огорчался. Почему должен я вроде некоего путешествующего мистера Твистера произносить комплименты по поводу увиденного, делать сравнения с Америкой, умиляться тому, что составляет и мою сущность — сущность советского художника! Было такое ощущение: просто я давно не был дома.

Я добрался до родной деревни. Но на месте ее увидел одни головешки. Ничего не осталось и от гнезда Коненковых. Родное подворье я узнал по камню, который издавна лежал у ворот. И следа не осталось от моей мастерской. Погибла большая, многофигурная композиция «Пильщики», которую из-за ее огромной величины я не мог вывезти в Москву и оставил в сарае в Караковичах.

Земляки мои ютились в землянках. Население деревни — это главным образом женщины, старики, дети. Мужчин почти нет. Инвалиды и вдовы рассказали мне о том, что видели и пережили, о дорогих и близких, «побитых» на войне. Жили наши деревенские голодно, трудно, но не падали духом.

— Ничего, Сергей Тимофеевич, обстроимся,— видя, как я запечалился, утешали сердобольные женщины, многие из которых остались вдовами и сами нуждались в утешении.

А всюду, куда ни глянешь, дзоты, окопы, разбитые орудия, снарядные гильзы. По всему видно: жестокие шли бои на рубеже Десны-реки. На поросшем бурьяном, незасеянном поле около деревни Сушня насчитал двенадцать подбитых танков. Я до слез огорчился, узнав, что они — советские. И долго не шли из головы эти обгорелые, с поникшими хоботами пушек танки.

Возле одной из землянок я увидел своего сверстника Илью Зуева — друга детства, сына богатыря-кожемяки Виктора Ивановича Зуева. Илья Викторович прямо-таки обомлел, когда увидел меня. Столько лет прошло! Вместе с ним, на одной лавке, мы сидели в деревенской школе, водили пальцем по букварю.

Илье Викторовичу за семьдесят, а он хоть куда. Работает в колхозе: пашет и косит. Это и его руками поднимается подорванное войной колхозное хозяйство. И вот сидим мы рядом. Деревенские все тут. Пошли в ход московские припасы. Народ повеселел. В руках Ильи Викторовича появилась гармошка, а в глазах молодой задор — какая еще там старость! Тогда и решил вылепить Зуева. В поисках подходящей глины лазил по оврагам, взбирался на кручи, сидел над Десной и думал, что нигде в мире нет такой красоты. Никакая прославленная Венеция на мутных лагунах, никакие красоты версальских парков не сравнимы с нашими зелеными дубравами и необъятным вольным простором!

Вспоминаю, как в день приезда на ночлег нас поместили в шалаше, устроенном из тяжелых, пахнущих хлебом снопов ржи. Я встал до рассвета. Вышел подышать чудесным деревенским воздухом. Солнце поднималось из-за Десны. Я поразился, увидев девушку-пастушку. Раньше ее лицо казалось мне ничем не примечательным. Но когда я увидел ее, озаренную лучами восходящего солнца, в тот момент, когда она целиком была поглощена своей работой, эта курносая девушка в ситцевом платье показалась мне удивительной красавицей. Освещенное ранним солнцем лицо, вся фигура ее, обвеваемая легким ветерком, приковали

мое внимание. Мне пришли тогда на ум удивительно верные слова Тараса Григорьевича Шевченко:

«Много, неисчислимо много прекрасного в божественной бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастьем лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю».

Ощущение возвышенной красоты человека-труженика не покидало меня, становясь плотью портрета И. В. Зуева. Крепкий, моложавый, улыбающийся, он твердо стоит на родной земле. В одной руке он держит косу, в другой — брусок. Человек-труженик.

По плечу молодцу все тяжелое.
Не боли ты, душа, отдохни от забот.
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Я верил в свой крестьянский род, я любовался им. Я начинал постигать жизнеутверждающее начало трагического видения у деревни Сушня. Там застыли навсегда наши советские танки. Но с Урала пришли новые бронированные пахари войны, и прах ненавистных фашистов навсегда исчез в земле наших предков. Страшной смертной платой оплачена наша победа над германским фашизмом. Но свобода Родины, но завоеванный народом в 1917 году социальный строй остались нашим достоянием навсегда.

Я обошел и объехал окрестные места. Ведь не был на родине с лета шестнадцатого года, когда приезжал в Караковичи хоронить отца...

Еще когда жил в гостинице «Москва», я, повинуясь душевному порыву, принялся лепить, а затем и вырубать в дереве «Горького-буревестника». Великий пролетарский писатель остался в моей памяти высоким сутуловатым парнем, каким встретил я его в петербургской квартире издателя Колпинского. В стремительном порывистом авторе «Песни о Буревестнике» открылось мне виденье гордой птицы, реющей «над седой равниной моря»,— две руки, как два крыла, взгляд, пронизывающий даль. Я стремился передать средствами пластики это свое представление.

Среди встречавших меня в декабре сорок пятого года друзей были и Пешковы. Само собой разумеется, что моему интересу к образу Максима Горького они несказанно обра-

довались. Между нами установились дружеские отношения, поддерживаемые до сего дня. Мы ездим друг к другу, встречаемся в дни семейных торжеств. Собираемся вместе, когда из Америки приезжают погостить дети Шаляпина, Лидия и Борис.

На протяжении целого десятилетия Пешковы позировали мне. Началось все с того, что я, вспомнив обещание, данное в Сорренто Горькому, принялся за портрет внучки писателя Марфиньки. Солнечная юность девятнадцатилетней, пора весеннего цветения, девичья хрупкая красота, восторженность и непосредственность взгляда на жизнь — вот какова была завещанная мне Горьким подросшая «модель». Мне предстояло сказать свое слово о юности, имея за плечами три четверти века. И что же: я, как мог, сказал, что восхищен красотой, счастливой судьбой юности Страны Советов. В 1950-м за скульптуры «Марфинька» и «Ниночка» меня удостоили Государственной премии. «Ниночка»— это крохотная, курносая дочка Марфиньки.

В 1954 году мне исполнилось восемьдесят лет. В ноябре открылась моя персональная выставка. Экспонировалось свыше ста пятидесяти моих скульптур в мраморе, дереве, бронзе и камне. Кроме того, много рисунков, мебель-скульптура, фотографии с монументальных работ.

На выставке, длившейся около двух месяцев, всегда было многолюдно. То же было и в Ленинграде, куда она переехала. Тогда же мне присвоили звание Народного художника РСФСР и я был награжден орденом Ленина.

Мой труд отмечен высшей правительственной наградой. Известие это до глубины души взволновало меня. В тот день, когда «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета о моем награждении, не однажды задавал я вопрос своей совести: «Достоин ли я?» День за днем, год за годом перебирал я в памяти свою жизнь, подходя к ней с высокой меркой правительственной награды.

Как боец и как художник, я участвовал в двух революциях; в голодную трудную пору гражданской войны принимал участие в создании первых советских монументов; в 1923 году от души поработал над созданием монументов-символов освобожденного труда для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарной выставки. Потом загра-



Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии Сергей Тимофеевич Коненков. 1964 г. Фото Э. Эвзерихина.

ничная командировка, пребывание в Америке, затянувшееся на долгие годы... Конечно, я сознавал ценность и значение созданных там, за рубежом, портретов великих соотечественников — Ленина, Горького, Шаляпина, Павлова, Рахманинова. Но я не мог не отдавать отчета в том, что все лучшее, принадлежащее моему резцу, создано на российской земле, вскормившей меня, вырастившей мое мастерство. Я не мог не чувствовать всей глубины ошибки моей жизни. В США я, конечно же, не имел возможностей для осуществления своих монументальных замыслов. Стремительный взлет Страны Советов, советского монументального искусства двадцатых — тридцатых годов осуществился без меня. А ведь и я бы мог внести свой вклад в славное дело, свершенное моими товарищами. Начинали-то мы вместе! Будучи оторван от Родины, я вынужденно пригасил пылавший во мне огонь монументальных идей. И многое из того, что могло бы стать бронзой памятников, камнем монументальных композиций, горьким пеплом несбывшихся идей осело на дне моей души. Да, многое потеряно... Но ведь ушедшего не вернешь.

Думал я в тот день и о радости встречи с Родиной,

о ее щедрости — в Москве я вновь ощутил себя молодым, жадным до работы. И мне довелось хорошо поработать, забыв о пенсионном своем возрасте: кто же из нас не стремится наверстать упущенное! Не знаю, наверстал ли я. Во всяком случае, мой порыв, мое стремление быть среди активных созидателей коммунистического общества оказались в поле внимания высшего законодательного органа моей страны — СССР.

ВАСИЛИЙ ШУЛЬГИН: «Россия — Родина моя!»

Не по своей воле вернулся на Родину Василий Витальевич Шульгин (1878—1976). Он был препровожден в СССР из освобожденной Югославии в 1944 году и понес заслуженное наказание за свою многолетнюю антисоветскую деятельность. Досрочно освобожденный в 1956 году, поселился во Владимире.

В прошлом В. Шульгин был видным деятелем Российской империи. Богатый помещик, он неоднократно избирался в Государственную думу и считался идеологом крупного дворянства. Будучи членом временного исполнительного комитета Государственной думы, Шульгин во время Февральской революции предпринял отчаянную попытку спасти монархию: он убеждал Николая II передать престол сыну, а потом (всего лишь на несколько часов) провозгласил императором брата царя — Михаила.

После Октябрьской революции Шульгин стал одним из организаторов белогвардейской контрреволюции, а после гражданской войны оказался за рубежом. Долгие годы он вел борьбу против Советской власти, был одним из предводителей белой эмиграции. На многое раскрыла В. Шульгину глаза Великая Отечественная война: он убедился, что советский народ самоотверженно защищает новое социалистическое Отечество.

В декабре 1960 года Шульгин обратился к русской эмиграции с открытым письмом. О мотивах, побудивших его выступить в советской печати, он пишет так: «Враждебное отношение некоторой части русской эмиграции к своей Родине является одной из сил, повышающей международную озлобленность. Желанием хоть чем-то смягчить эту опасную психику вызвано настоящее обращение к эмиграции».

Близко познакомившись с советской действительностью, Шульгин нашел в себе мужество признать, что Россия, «гибель» которой он когда-то оплакивал, стала могучей державой. Он признает, что это достигнуто народами СССР под руководством партии Ленина. Затем появилось второе письмо В. Шульгина —«Возвращение Одиссея».

В его письмах имеются некоторые субъективные оценки, требующие к себе критического отношения. Тем не менее они представляют интерес как искренний призыв к разуму и миру. Автор безоговорочно признал выдающийся вклад советского народа в дело борьбы за мир, горячо

призывает всех людей доброй воли обуздать поджигателей новой войны и активно бороться за мир во всем мире.

Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги В. Шульгина «Письма к русским эмигрантам» (Москва, Политиздат, 1961).

Письма к русским эмигрантам (отрывки)

Я был в числе основателей Добровольческой (белой) армии в ноябре 1917 года. Я помогал по мере своих сил генералам Алексееву, Деникину, Врангелю. Когда война кончилась, я очутился в эмиграции и там написал книгу «1920-й год». В ней я высказал свое мнение, почему белые проиграли войну. Эта книга, по-видимому, по личному желанию Ленина была перепечатана в Советском Союзе.

* * *

В 1925—1926 годах мне удалось проникнуть нелегально в Советскую Россию и вернуться в эмиграцию. По возвращении я написал о своем путешествии книгу под заглавием «Три столицы».

Основная мысль этой книги в том, что, несмотря на все перенесенные испытания, «Россия жива». По этой причине при переводе на французский язык издатель предложил изменить заглавие «Три столицы», не звучавшее, по его мнению, для французского читателя, на заглавие «Возрождение России», что и было мной принято. Но вместе с тем эта книга была полна резких и даже просто грубых выпадов против Ленина. Об этом я сейчас сожалею.

* * *

Необходимо вспомнить еще одно обстоятельство. Молодые люди, состоявшие тогда в различных эмигрантских организациях, мечтали о проникновении в Россию, на свою родину. Мне же удалось, как это уже рассказано выше, на грани 1925—1926 годов совершить нелегальное путе-

шествие по России и вернуться в эмиграцию. Человек, побывавший в России, был окружен известным ореолом в глазах молодежи, но не в моих собственных глазах.

Дело в следующем. В 1927 году открылось, что «тайное» мое путешествие по России было от начала до конца известно соответствующим органам Советской власти. Причины, почему меня не задержали, мне не совсем ясны и по сей день. Но тогда, в 1927 году, я счел себя одураченным политиком и имел великое желание совсем и навсегда сойти с политической арены. И только в 1937 году я покончил с политикой. В качестве частного лица находился в одном городке Югославии, где и пережил вторую мировую войну.

* * *

Бурное нарастание новой жизни, по рассказам, характерно для всех городов Советского Союза. В Москве я был. О Москве написаны целые тома. Я заболел, пытаясь объять необъятное на старости лет, и потому видел меньше, чем хотелось бы. Москва по внешности напоминает большие европейские столицы — Париж, Берлин, Вену. Кремль оберегается любовно вместе с древними храмами, превращенными в музеи. Сокровища Оружейной палаты меня доконали, и я залег в высотной гостинице «Ленинградской». Эта гостиница — роскошный небоскреб, который внутри и снаружи отражает влияние готики. Но я успел побывать в Филях, вошедших в черту города. Там во всей неприкосновенности сохраняется изба, где в 1812 году держал совет Кутузов.

Я был в Большом театре. В августе 1917 года здесь было большое политическое совещание (около 2 тысяч человек) под председательством Керенского. Здесь говорили генералы Алексеев, Корнилов, Каледин и корифеи тогдашней политики. Выступал и я, многогрешный. Сейчас я в этом театре смотрел новый балет «Бахчисарайский фонтан». Балет превосходен. Большой театр еще лучше, чем был.

В другом театре, в самом Кремле находящемся, я слушал обширную концертную программу. Произвел на меня наибольшее впечатление великолепный хор. Большой хор,

быть может, стоголосый. Девушки и молодые люди с великим подъемом и силой восклицали:

— Россия, Россия, Россия — родина моя!

Скажу честно, что интеллигенция моего времени, т. е. до революции, за исключением небольшой группы людей, слушала бы это с насмешливой улыбкой. Да, тогда восхищаться родиной было не в моде; не кто иной, как я сам, очень скорбел об этом.

* * *

Что еще сказать о Москве? Женщины стали хорошо одеваться. Но это стремление наблюдается во всех городах Советского Союза. Говорят, что и в колхозах происходит то же самое. Позднее я в этом убедился. Пушкин когда-то написал рассказ «Барышня-крестьянка». Быть может, в наши дни из-под пера Александра Сергеевича вылилась бы поэма «Крестьянки-барышни». Стремление масс выбиться на жизненный уровень, который раньше, в дореволюционное время, был доступен только немногим, для меня ясно.

Дореволюционная Россия напоминала океан, из которого торчали к небу немногочисленные острые вершины. Это были выразители русской культуры — Пушкины, Гоголи, Толстые, Достоевские. Последние два светили всему миру. Но дно океана было глубоко под водой. Там таились русские низы, темные и бедные.

Сейчас двинулось вверх самое дно океана. Оно поднялось над волнами и образует огромные острова и даже материки. Население этих, недавно подводных еще стран хранит печать своего недавнего появления. Вода еще стекает с них. Понятно, что не все ладно при таком грандиозном процессе. Но вода с них стекает быстро.

Но как трудно охватить жизнь в целом. Я слишком долго питался тяжелыми впечатлениями. Я близко наблюдал тех, что попали так или иначе под тяжелые колеса XX века. Это век жесточайших войн, глубочайших социальных потрясений, грандиозных достижений и великих жертв. Теперь я посильно изучаю богатые плоды, выросшие на много претерпевшем древе. Если бы этих

плодов не было, душа человечества могла бы прийти в отчаяние, но они есть.

* * *

«Мой дом»... Что это такое? Что значат эти слова?

Мой ли он потому, что моим родителям принадлежали его стены? Этих стен уже нет. Деревянные, слабенькие, они сменились каменными, могучими. А он, дом, все же остался «моим». Переменились и видимые владельцы. Нашу семью в этом смысле сменило государство, и все же он «мой», т. е. я как-то живу в нем, хотя в этих каменных стенах мне негде и голову приклонить.

Почему же, в конце концов, он «мой?» Он «мой» потому, что в нем я родился, в нем впервые увидел свет.

Этот факт нельзя изменить, и потому с этим местом до конца дней моих будет связана моя жизнь.

У турецкого султана было три тысячи жен, но мать одна. Я переменил за свою жизнь много, много домов, где я жил. Но «моим» домом был и будет только этот, хотя его больше уже и нет. Место рождения человека больше всего другого, кроме времени, определяет его судьбу. И потому с этим пунктом земного шара я связан нитями невидимыми, но неразрывными.

Этот дом «мой» потому же, почему «мой» и город, в котором я нахожусь. Минувшие судьбы града Киева, до самых отдаленных, наложили на меня какую-то свою печать, и в его настоящем и будущем я как-то и сейчас участвую. В более развернутом понимании «мой» дом — это город Киев; а в еще более широком, «мой» дом — это моя родина, Русь — Россия.

* * *

Вся Россия мыслится и ощущается мной, как колония «матери городов русских». И судьба ее, России, в каком-то отношении и моя судьба. И в какой-то микроскопической дозе я за нее и ответствен. Пусть случайность, что я родился в России, но эта случайность определяющая,

и ее отменить нельзя. Если бы я родился в иной какой-нибудь стране, я был бы не я, а другой человек. То обстоятельство, что на шестой части суши с 1917 года была провозглашена Советская власть, ничуть не меняет сути дела.

Нельзя уничтожить законы бытия. Бесчисленные люди всех времен и народов, приложившие к ней свои усилия, направили и дальше будут направлять реальную историю нашей Родины. К этим бесчисленным отношусь и я — малая букашка. Причем безразлично, был ли я за или против власти существующей. Поэтому и на мне лежала и лежит некая маленькая ответственность за судьбы народов, меняющих имена и формы общежития, но остающихся Великим сообществом, проживающим в определенных пределах. И эти пределы и суть в обширном смысле слова — «Мой дом».

* * *

Сейчас представляется нужным уточнить вопрос, почему Шульгин, отсидев 12 лет в тюрьме, не выехал при освобождении за границу.

Почему, почему? Чтобы это рассказать, надо поставить контрвопрос: а почему Шульгин выехал за границу в 1920 году, т. е. эмигрировал? Если держаться точной истины, то я вовсе и не эмигрировал. Меня эмигрировала судьба в виде бури, бросившей меня на берег Румынии. Кто знает, если не этот непреоборимый норд-ост, как бы сложилась моя жизнь?

Во всяком случае, в 1921 году Шульгин, выйдя из Варны (Болгария), переплыл Черное море и снова был на русском берегу (Гурзуф, Крым) в поисках своего безвестно пропавшего сына. Поиски были неудачны. Шульгин бежал из Крыма, в Варне подвергся «неаккуратному обращению» со стороны болгарских жандармов, сломавших ему руку. В 1925 году он снова в России нелегально, гонимый туда отцовским чувством, сделавшимся осью его жизни. На этот раз неаккуратного обращения не было, но сына найти не удалось, и Шульгин бежал снова за границу.

Я хочу сказать: были причины, почему Шульгин эмигрировал из России, спасая голову и личную свободу. Дальнейшие события показали, что если жизнь ему подарили, то долголетняя тюрьма его ждала в отечестве. Что касается родственной любви, то меня может понимать тот, кто ее имеет. У кого такие чувства атрофированы, понимать эту материю не может. Не могут понимать и другую любовь, любовь к Отечеству, те, для которых это только фраза, а живое чувство к Родине умерло. Во мне оно всегда было живо. Я приспособлялся к другим странам, я ценил в них многое и мог полюбить отдельных людей, но я не принял никакого чужого подданства, и этим все сказано. Что же касается политики, то она сопровождала меня во всех моих делах, но не как любимое знамя, а как тяжелый долг перед Родиной. Таким я был, таким и остался.

Теперь обратимся к 1956 году, когда вышел из тюрьмы. Почему я эмигрировал, бежал из отечества несколько раз? Да потому, что никому не хочется умирать сразу или умирать в тюрьме долгие годы.

Но в 1956 году эти причины отпали: меня освободили и расстреливать не собирались. Это много или мало? Попробуйте. Тогда поймете, что значит жизнь или личная свобода, т. е. возможность ходить туда-сюда по белу свету, видеть людей и жизнь, ну и все прочее.

А политическая свобода? И вы могли ее предать за свежий воздух?

Сказать по правде, о политической свободе первые дни я не думал. Я был в настроении Иоанна Дамаскина:

«Благославляю вас, леса,
  долины, горы, нивы, воды,
Благославляю я свободу
  и голубые небеса...
...О, если б мог всю жизнь обнять я
И душу вместе с вами слить.
О, если б мог в мои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
и всю природу заключить»[1].

---

[1] Отрывок из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин».

Однако подготовка к этому восторженному настроению совершилась еще в тюрьме. За решеткой сидя, мы чувствовали, что и в тюрьме, и за ее пределами совершается нечто большое и замечательное.

Мне казалось, что те причины, которые меня гнали раньше из отечества, смягчаются, и верилось, что лозунг «лицом к человеку»— не только красивая фраза, а воплощается, внедряется в жизнь.

При таких условиях я не смог ответить согласием на сердечное приглашение одного заключенного, раньше меня освобожденного и вернувшегося к себе на родину в Западную Германию. Он предлагал мне переселиться к нему вместе с женой и жить у него до конца дней моих на правах близкого родственника.

Я не знаю, как бы отнеслись соответствующие государственные органы к моему выезду на Запад, но тогда я не поставил этот вопрос на рассмотрение Советской власти. Таким образом, я остался в Советской России по своему желанию.

Митрополит ВЕНИАМИН: «Любовь к Отечеству сплотила всех...»

Преданность Родине, ее национальным интересам проверяется в годину суровых испытаний. Это закон жизни, особенно ярко проявившийся в годы Великой Отечественной войны.

В защите Отечества увидели свой первейший долг и патриотически настроенные деятели русской православной церкви. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий обратился к пастырям и верующим русской православной церкви с призывом встать на защиту СССР: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа... Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она... всех православных на защиту священных границ нашей Родины...» Он заявил, что в начавшейся схватке с фашизмом церковь на стороне Советского государства.

На этот призыв горячо откликнулись и многие жившие в эмиграции деятели русской православной церкви. Некоторые из них приняли активное участие в европейском движении Сопротивления. Другие внесли посильный вклад в дело всесторонней помощи Советскому Союзу в таких странах, как США и Канада, Китай и Аргентина.

С воодушевлением восприняла прогрессивная часть русской эмиграции Указы Президиума Верховного Совета СССР 1946—1947 гг. о праве предоставления советского гражданства бывшим гражданам Российской империи. На молебне в Париже 28 июля 1946 года по случаю указа от 14 июля, предоставляющего советское гражданство бывшим гражданам Российской империи, проживающим во Франции, митрополит Евлогий сказал: «Это день соединения нашего с великим русским народом». Вскоре он первым из русских эмигрантов получил советский паспорт из рук посла СССР во Франции А. Е. Богомолова.

После долгих лет эмиграции вернулись в СССР многие архиереи и священники. «Среди них митрополит Саратовский и Балашовский Вениамин, прибывший из США, митрополит Серафим, прибывший из Франции, митрополит Новосибирский и Барнаульский Нестор, архиепископ Краснодарский и Кубанский Виктор, архиепископ Ижевский и Удмуртский Ювеналий и епископ Вологодский и Череповецкий Гавриил, прибывшие из Китая, архимандрит Мстислав, ныне епископ Великолукский и Торопец-

кий, прибывший из ФРГ, благочинный и настоятель собора в Херсоне протоиерей Борис Старк, прибывший из Франции, протопресвитер Михаил Рогожин, прибывший из Австралии, и многие, многие другие»,— отмечалось в обращении священного синода русской православной церкви от 14 марта 1957 года «ко всем ее чадам, пребывающим в рассеянии и вне ограды матери-церкви».

Возвратившееся духовенство смогло воочию убедиться в лживости утверждений о гонении на религию и церковь в Советском Союзе, о преследовании священнослужителей за церковную деятельность. Бывшие эмигранты — служители русской православной церкви получили приходы и епархии, соответствующие их церковному сану. Некоторые из них стали затем архиереями, ответственными сотрудниками Московской патриархии, преподавателями духовных семинарий и академий.

Они осудили антисоветскую деятельность политиканов из так называемой «русской зарубежной церкви» («карловацкого раскола»). «Карловацкая юрисдикция с самого начала своего существования заняла открытую враждебную позицию по отношению к новому строю — Советской власти — в нашей стране. Эта озлобленность... привела карловчан во время Великой Отечественной войны в стан смертельных врагов нашего отечества — немецких фашистов. Они до сих пор проповедуют неотделимость русского самодержавия от православия, искажая при этом основы христианского вероучения... По их учению весь мир держался на русском царе. Это политиканство от лица церкви наносит вред и самой церкви и родине нашей». Это характерное заявление принадлежит одному из архиепископов, возвратившихся на Родину в 1947 году.

В том же году вернулся в СССР и митрополит Вениамин. Он, экзарх русской православной церкви в США, в годы минувшей войны показал себя убежденным патриотом. О его жизненном пути рассказывается в очерке кандидата философских наук А. Афанасьева «Красный митрополит».

«Красный митрополит»

Весть о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз живо переживалась в Америке. Вечером 2 июля 1941 года в нью-йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден состоялся грандиозный митинг. Появление на трибуне человека, облаченного в темное платье и в белый митрополитский клобук, вызвало пристальное внимание огромного зала. Речь экзарха Московской патриархии в США произвела большое впечатление на собравшихся. В ней он указал на отношение русской православной церкви к Отечественной войне...

«Всякий знает, что момент наступил самый страшный и ответственный для всего мира. Можно и должно сказать,

9*

что от конца событий в России зависят судьбы мира...— гремели слова митрополита Вениамина.— И потому нужно приветствовать намерение президента и других государственных мужей о сотрудничестве с Россией в самый ближайший момент и во всякой форме».

Митрополит был замечательным оратором. Слова невысокого, с окладистой русой бородой человека — «Вся Русь встала!», «Не продадим совесть и Родину!»— по свидетельству газет, буквально наэлектризовали огромную аудиторию, в большинстве своем состоявшую из русских эмигрантов.

Сотни тысяч выходцев из России, приехавших в поисках лучшей доли за океан еще до 1917 года, значительная часть белоэмигрантов, прозревших за годы скитаний на чужбине, мучительно переживали, что в лихую годину находятся вдали от Родины. Их чувства хорошо выразил известный в эмиграции поэт Ю. Софиев (впоследствии вернувшийся на Родину):

Нас не было в тот день — плечом к плечу,—
Когда враги ломились в наши двери.
И я, как ты, теперь поволочу
До гроба нестерпимую потерю.
И только верностью родному краю,
Предельной верностью своей стране,
Где б ни был ты — в Нью-Йорке иль Шанхае,—
Смягчим мы память о такой вине.

Патриотические чувства захватили лучшую часть многочисленного русского населения в Америке. Развернулась активная деятельность, направленная на оказание всесторонней помощи сражающемуся советскому народу.

Из русских эмигрантов выдвинулись незаурядные организаторы и лекторы. Среди них, несомненно, выделяется генерал Виктор Александрович Яхонтов, за годы войны вдоль и поперек объездивший страну с сотнями лекций о борьбе советского народа, его Красной Армии против гитлеровского нашествия, о значении этой борьбы для судеб всего человечества. Бывший князь А. М. Путятин организовал ряд комитетов помощи СССР, сотрудничал в русско-американском клубе «Победа», к концу войны

возглавлял «Комитет помощи сиротам защитников Сталинграда». Успехом у эмигрантов пользовались выступления бывшего штаб-ротмистра «дикой» дивизии В. Д. Казакевича (внука известного русского адмирала Казакевича), журналиста Л. З. Крынкина и других.

Талантливым организатором показал себя и митрополит Вениамин. В конце 1941 года он избирается почетным председателем русско-американского Комитета помощи России. Генерал Яхонтов и митрополит Вениамин стали инициаторами кампании помощи Красной Армии.

Виктор Александрович Яхонтов в мемуарах «Служу тебе, Отечество...» писал: «Никогда не забуду, как в Сан-Франциско я выступал в одном из храмов вместе с экзархом русской православной церкви в США митрополитом Вениамином, который, как известно, во время Великой Отечественной войны вел огромную патриотическую работу среди русской колонии в Америке. Когда и он, и я кончили говорить, вперед вышел почтенный старик молоканин и предложил тем, кто захочет, пожертвовать средства на «медицинскую помощь» России. К заранее приготовленному столу, покрытому белой скатертью, один за другим стали подходить люди и давать «кто сколько может».

Жертвовали не только деньги: многие предлагали одежду, обувь, муку, сахар, конфеты...»

Был у митрополита Вениамина и специфический участок деятельности. Церковный. Борьба со злобствующими антисоветчиками из так называемой «русской православной церкви» («карловацкий раскол»), которые, как известно, благословляли нашествие фашистских полчищ на СССР. Так, активный карловчанин архиепископ Виталий (Максименко), публично заявив, что «долг каждого православного русского человека всеми силами бороться против антихристовой советской власти», обратился к президенту США Рузвельту с просьбой не оказывать помощи Советскому Союзу. Подобные «обращения» часто появлялись на страницах антисоветской эмигрантской печати, особенно монархической «России»...

В специальном «Послании ко всем русским людям в Америке» митрополит Вениамин осудил «низкую возню» архиепископа Виталия, рассказал о развертывании патрио-

тической деятельности русской православной церкви на Родине, призыве митрополита Сергия. «Они холодной рукой бросают камень обвинения в русский народ»,— с презрением писал он о «радетелях за русский народ»— раскольниках-карловчанах.

«Фашистский «крестовый поход» уже разразился над нашей страною, уже заливает ее кровью, оскверняет наши святыни, разрушает исторические памятники, изощряется в злодеяниях над безоружным населением... О, Родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благославляя»,— говорил эмигрантам митрополит Вениамин.

Помощь Отечеству он считал наиважнейшим делом. Даже будучи очень больным, он говорил: «Сейчас некогда болеть»— и ехал на очередное собрание... Во всех храмах его епархии за каждой литургией возносилась молитва о даровании Родине победы над врагом.

Страстные речи «красного митрополита» (так стали многие в США именовать Вениамина) о немецких зверствах, о том, что русский народ воспринял эту войну как войну священную, войну за свое Отечество, доходили до сердец выходцев из России и коренных американцев.

В книге «Правда о религии в СССР», вышедшей в 1942 году в Москве, отмечалось, что митрополит Вениамин, «нимало не колеблясь, отдал свое имя и свои силы движению в пользу американской помощи России. Он обратился к православному населению Америки с посланием; он участвует в комитетах по сбору пожертвований, разъезжает по городам, выступает с проповедями в церквах, с речами на публичных собраниях и т. п.».

Неистово работал для блага Отчизны «красный митрополит» Вениамин. Но, рассказывая о яркой патриотической деятельности этого человека в годы минувшей войны, мы не вправе не рассказать об его участии в другой войне. Гражданской войне в России.

Никогда ранее во всемирной истории, наверное, накал классовых боев не был так велик, а человеческие страсти так обнажены и глубоки, как в эпоху Октябрьской революции и гражданской войны в России 1917—1920 гг.

Большинство русского православного духовенства встретило Октябрьскую революцию враждебно. Крепко связан-



После четвертьвековой разлуки посетил родную землю митрополит Вениамин. Снимок сделан в Москве во время поместного собора православной церкви в 1945 году.

ное с эксплуататорскими классами дореволюционной России, оно по призыву патриарха Тихона вступило на путь открытой борьбы против народной власти. Бросив свои епархии и приходы, кинулись на российские окраины, захваченные в те годы интервентами и белогвардейцами, многие церковники.

Воинские подразделения, целиком состоящие из священнослужителей, имелись в армии Деникина и у Врангеля. У Колчака действовали специальные полки, созданные из служителей культа и религиозных фанатиков («полк Иисуса», «полк Богородицы», «Полк Ильи Пророка»). По образцу царской армии была восстановлена должность протопресвитера армии и флота. У Деникина ее занимал протопресвитер Г. Шавельский, у Колчака — протоиерей Русецкий, у Врангеля — ...епископ Вениамин.

Церковное воспитание и окружение привели в те годы в стан наиболее ярых противников Советской власти сына тамбовского крестьянина Ивана Федченкова (в 1907 году в Петербургской духовной академии он принял монашеский постриг с именем Вениамин). В 1920 году епископ севастопольский Вениамин становится членом врангелевского «совета министров». Связав себя с последней из белых армий, он вместе с ней был выброшен за пределы родной земли победившим народом...

Антисоветский угар прошел не сразу. Долго еще был Вениамин епископом разбитой, озлобленной, рассыпавшейся по Европе врангелевской армии. По пути в Константинополь он обсуждает вместе с Врангелем и митрополитом Антонием (Храповицким) на палубе корабля «Александр Михайлович» планы организации русской церкви за рубежом. В Константинополе становится во главе предсоборного совещания, лихорадочно подготавливающего антисоветский церковный собор.

Архиепископ Евлогий из эмиграции писал в Москву патриарху Тихону: «...У нас по инициативе молодого епископа Вениамина (Федченкова) затевается большой заграничный собор с привлечением Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и даже Америки, Японии, Китая. Слишком широко размахнулись. Хватит ли пороху...»

Пороху явно не хватило. На так называемом общем соб-

рании представителей русской заграничной церкви в югославском городе Сремски Карловцы было представлено всего лишь 13 архиереев.

«Карловацкий собор 1921 г.,— отмечают советские историки Н. С. Гордиенко, П. М. Комаров, П. К. Курочкин,— был контрреволюционным во всех отношениях: и по составу участников, и по характеру работы, и по содержанию принятых на нем решений, и, наконец, по его влиянию на последующую деятельность наиболее реакционных церковных кругов русской эмиграции»[1]. Одним из заправил этого сборища обанкротившихся церковных политиканов был епископ Вениамин.

А тем временем на его родной земле невиданными в истории темпами началось строительство новой России — России социалистической. С трудом, постепенно переходило на позиции лояльного отношения к народной власти руководство Московского патриархата.

Яро антисоветскую деятельность карловчан, называвших Октябрьскую революцию не иначе как «большевистским переворотом», противным «промыслу господню», осудил даже патриарх Тихон, в первые послеоктябрьские годы относившийся, как известно, враждебно к Советской власти. Синод русской православной церкви официально отмежевался от реакционного политического курса карловчан.

Это решение заставило епископа Вениамина всерьез задуматься над тем, в какой грязной политической авантюре, ничего общего не имеющей с церковной деятельностью, он участвует...

Сама жизнь русской эмиграции, с ее фантастическими планами свержения «антихристов-большевиков», с беспрерывными склоками, безысходностью жалкого существования, все отчетливее указывала на агонию «белого движения». И епископ Вениамин, пристально следивший за ходом событий на Родине, одним из первых крупных деятелей российской зарубежной контрреволюции начал выступать с заявлениями, в которых стали проскальзывать нотки политического реализма, признания того, что русский на-

---

[1] *Гордиенко Н. С., Комаров П. М., Курочкин П. К.* Политиканы от религии. М., Политиздат, 1975.

род «сатанинскую» Советскую власть принял как свою, народную, отражающую его чаяния и надежды, и с нею он все определеннее стал связывать свое будущее.

Много разъезжает по белому свету член «русского совета» при генерале Врангеле епископ Вениамин. Турция, Югославия, Болгария, Франция, снова Югославия. И везде одно и то же — отчаяние оторванных от России людей.

А рядом подрастает молодая поросль — дети эмигрантов. Промотавшиеся «отцы» стремились воспитать у них ненависть к России. С трагедией «потерянного поколения»— так и по сей день называют себя дети белоэмигрантов — епископ Вениамин столкнулся вплотную в Сербии, будучи в 1924—1925 гг. законоучителем русского Донского кадетского корпуса в Пятковицах. Именно тогда он принимает твердое решение вернуться на родную землю, несмотря на прегрешения перед Советским государством...

Антинародную, антисоветскую деятельность эмигрировавшего духовенства после смерти патриарха Тихона пытался пресечь митрополит Сергий (Старгородский), возглавивший синод. Он вызывал большое уважение у епископа Вениамина (в бытность Сергия архиепископом Финляндским молодой иеромонах Вениамин два года был его личным секретарем).

29 июля 1927 года митрополит Сергий подписал «Послание пастырям и пастве», призывавшее служителей культа пересмотреть свое отношение к Советскому государству. Представителям духовенства рекомендовалось строго следовать в своей деятельности принципу лояльности по отношению к Советской власти. «...Мы, церковные деятели, не с врагами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и правительством... Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди... но и самые ревностные приверженцы его... Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной...»

Он потребовал и от зарубежного духовенства письменных заверений в лояльности Советскому государству, предупредил, что тот, кто не даст подобного обязательства,

«будет исключен из состава клира, подведомственного Московской патриархии».

3 декабря 1927 года первым из архиереев-беженцев был включен в клир Московской патриархии епископ Вениамин.

Митрополит Евлогий, управляющий тогда западноевропейскими русскими православными приходами, оказался в сложном положении. Представители некоторых приходов стали высказываться за подчинение Московскому патриарху. Но материально он зависел от верхушки белой эмиграции, американских меценатов и одного английского «короля нефти», женатого на русской и оплачивавшего содержание православного богословского института в Париже. В этой обстановке Евлогий, ранее стремившийся к сближению, повернул в сторону от Московской патриархии. Много шуму наделало его выступление в марте 1930 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне с проповедью против Советской власти, якобы попирающей свободу совести граждан.

Таким образом, митрополит Евлогий открыто заявил о своей нелояльности Советской России. Синод и митрополит Сергий постановлением от 10 июня 1930 года отстранили его от управления русскими православными приходами в Западной Европе.

Для обсуждения создавшегося положения в июне 1930 года в Париже был созван церковный собор. На нем присутствовало шесть архиереев и около двухсот священнослужителей, не считая делегатов-мирян. В истории русской православной церкви это был, по всей вероятности, первый пример духовного собора, на котором доклад о положении церкви за рубежом был сделан мирянином — графом Коковцевым. Ни у кого из духовенства не хватало, по-видимому, смелости мотивировать предложенное Коковцевым решение — разорвать со своим каноническим главой и перейти в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

Всего только три человека из присутствовавшего на соборе духовенства отказались подчиниться этому решению: епископ Вениамин и два его ученика — иеромонахи Стефан (Светозаров) и Феодор (Текучев). Епископ Вениамин перед всем собранием твердо заявил: «А я от митрополита Сер-

гия не отделяюсь! И прошу вас занести это в протокол. А если вы не занесете, я и сам напишу митрополиту Сергию». Если принять во внимание атмосферу разнузданного антисоветизма и неприязни к митрополиту Сергию, царившую в белоэмигрантской среде, то этот шаг епископа Вениамина характеризует его как человека, к тому времени практически признавшего Советскую власть.

Он и его первые духовные сотрудники остались в полном смысле этого слова на улице. «Из мирян к ним присоединились всего двадцать пять человек, в том числе и наша семья,— писал в воспоминаниях «Путь к правде» реэмигрант Павел Шостаковский.— Момент был жуткий — среди всей многосоттысячной эмиграции эти двадцать восемь человек оказались единственными русскими, не пожелавшими порвать последнюю пуповину, связывающую их с родиной: свою принадлежность к русской православной церкви и свою верность ее каноническому главе!»

Для русской белоэмиграции это был не только церковный, но и политический вызов: организованное выражение лояльности Советской власти.

С трудом удалось подыскать в 15-м городском округе Парижа помещение для своего храма — подвал на улице Петель, предназначенный под склад. Для найма помещения одна из прихожанок заложила свои драгоценности. Под гогот и насмешки антисоветчиков первый патриарший приход в зарубежье — Трехсвятительское подворье — был открыт (в феврале 1981 года в Париже торжественно отмечен полувековой юбилей подворья, ставшего для многих русских людей на Западе символом верности родной земле).

«Епископа Вениамина и «иже с ним» немедленно зачислили в «большевики», что на белогвардейском языке почиталось верхом человеческого падения. Особенно доставалось мне, выбранному церковным старостой, на ответственности которого лежало материальное обеспечение прихода,— вспоминал П. Шостаковский.— С «большевиками-патриархистами» были разорваны всякие отношения, нам перестали кланяться знакомые. Организовывались экспедиции, приходившие по ночам бить стекла на патриаршем подворье и даже побивать камнями... «большевистскую икону» с лампадой, висевшую над входной дверью!»

Но тем не менее престиж подворья рос с каждым днем. Не могли не притягивать к новому приходу сочувствующих, сомневающихся — а сколько их было в те годы в «русском Париже»?! — твердость убеждений епископа Вениамина и его сотрудников. Постепенно образовался очень неплохой хор из оперных артистов под управлением Родионова. Стало привлекать русских парижан и внутреннее убранство храма: оно отличалось большим художественным вкусом. (Епископ Вениамин выкупил на средства прихожан у одного парижского антиквара прекрасный список Иверской иконы Богоматери.)

Надежда на возвращение домой не покидала его в те годы. Но судьба порешила иначе. В 1933 году, уже в сане архиепископа, он по поручению митрополита Сергия едет за океан. Митрополит Платон (Рождественский), управляющий североамериканскими русскими православными приходами, отказался тогда от подчинения Московской патриархии, объявил свой округ «автономным». В качестве временного экзарха в Северной Америке пересек архиепископ Вениамин Атлантику.

Неласково встретила архиепископа Америка. Поначалу, как и в Париже, ему довелось пережить немало лишений и неприятностей от раскольников. Всякое приходилось испытать: спать на полу, скитаться по разным углам, терпеть оскорбления от беснующихся во Христе антисоветчиков. Лишь один протоиерей А. Чечила в Нью-Йорке поначалу признал полномочия архиепископа Вениамина.

К концу же пребывания митрополита Вениамина в США его епархия объединяла пятьдесят приходов русской православной церкви. Именно за воссоединение тысяч выходцев из России с матерью-церковью в 1938 году Вениамин был возведен синодом в сан митрополита. Многие из этих людей в годы второй мировой войны доказали свою преданность Родине.

В конце войны он обращается с просьбой о получении советского гражданства в генконсульство СССР в Нью-Йорке... Желаннейшая поездка на Родину. Пока еще короткое свидание с отчим домом после четвертьвековой разлуки! В начале 1945 года митрополит вызывается в Москву на поместный собор для избрания патриарха.

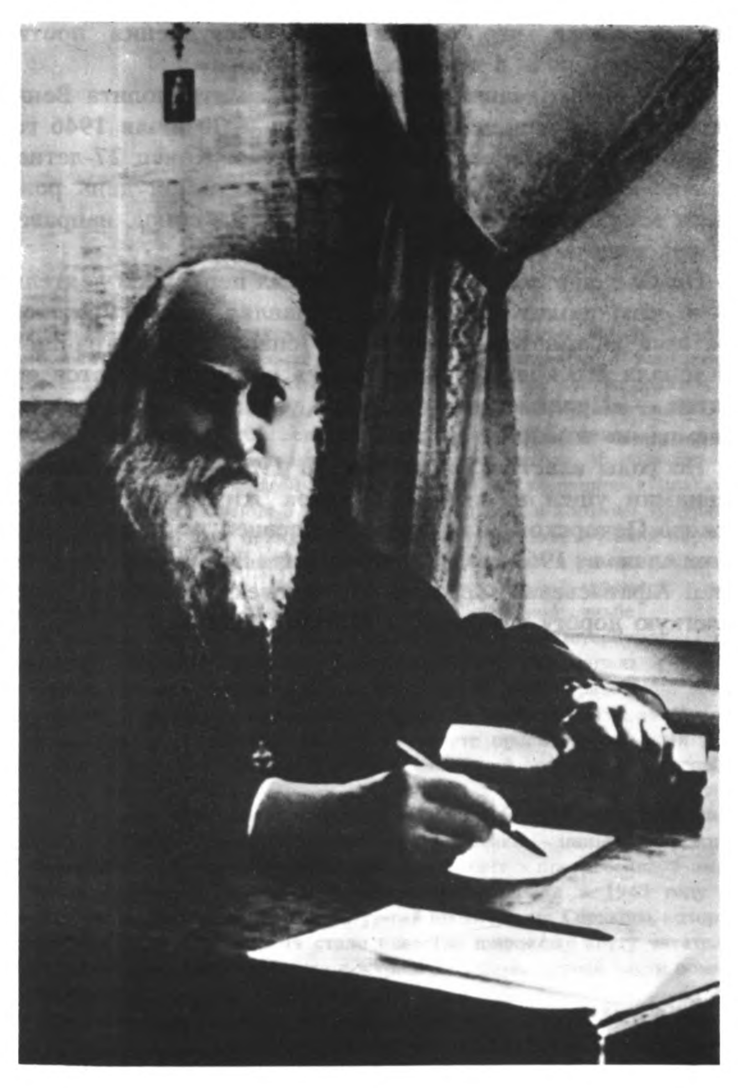
За почти тысячелетнюю историю русского православия это был особый собор, заложивший основы большой миротворческой деятельности, проводимой сейчас русской православной церковью. Участники поместного собора в феврале 1945 года выступили с обращением ко всем христианам, в котором выражалась надежда на будущее, когда человечество навсегда откажется от разрешения своих споров посредством меча.

Да, примечательный путь прошел от Карловацкого собора 1921 года до поместного собора 1945 года митрополит Вениамин.

В свободное от заседаний время он пристально всматривается в облик родной земли, только что пережившей фашистское нашествие. В статье «Мои впечатления о России» в «Журнале Московской патриархии» он пишет: «Любовь к Отечеству, борьба за свободу от немецкого ига, которое грозило России и всему миру, сплотила всех здесь в единый, могучий несокрушимый фронт... Впечатления от народа — самое сильное, самое важное, что я увожу с собой с Родины за границу. Если обратиться вообще к русской душе — независимо от вопроса веры,— то она захватила мой ум, и еще больше мое сердце, своей духовной красотой. Советский народ стоял и стоит мужественно и выстоит до конца. Великая сила в нем! И я уезжаю спокойный и радостный, благодарный Советскому правительству... убежденный еще больше в мощи народов СССР».

Не забудем, что слова эти принадлежат бывшему духовному наставнику белой армии Врангеля...

Вскоре после своего возвращения в Соединенные Штаты, 8 апреля 1945 года митрополит Вениамин выступил перед большой аудиторией в Нью-Йорке. В своем докладе, как сообщала газета «Правда» 12 апреля, митрополит указал, что «старое представление о России необходимо забыть. В настоящее время существует Советский Союз и советский патриотизм. Митрополит Вениамин указал, что страна стала совершенно другой и люди стали другими. Люди стали интеллигентными, сознательными, проникнутыми любовью к своей Родине. Далее Вениамин отметил, что православная церковь в Советском Союзе едина, свободна и пользуется уважением советских властей. Митрополит



Митрополит Вениамин в Псково-Печорском монастыре в 1958 году.

отметил также, что политические выступления против Советского Союза в церквах недопустимы».

Весть об окончании войны застала митрополита Вениамина в Сан-Франциско. А через год — 30 июля 1946 года — он получил советское гражданство. Конец 27-летней разлуке с Родиной! Свой шестьдесят седьмой день рождения митрополит встретил в Риге, куда синод направил его руководить Рижской епархией.

Немало еще лет своей жизни отдал церковной деятельности митрополит Вениамин: возглавлял, после Рижской, Ростовскую, а затем Саратовскую епархии. На страницах «Журнала Московской патриархии» часто появляются его статьи — «Простые речи за мир», «Впечатления о войне с немцами» и многие другие.

Но годы властно брали свое. В 1958 году митрополит Вениамин ушел на покой. Остаток жизни он провел в Псково-Печорском монастыре. В древней псковской земле упокоился в 1961 году митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич Федченков), человек, нашедший свою, нелегкую дорогу к истине, к Матери-Родине.

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА: «Знать, во что верить»

Многие из вернувшихся на Родину после второй мировой войны реэмигрантов написали мемуары, с большим интересом и вниманием встреченные советской общественностью. Рассказали о долгих годах жизни на чужбине Л. Любимов и Д. Мейснер, Б. Александровский и П. Шостаковский, И. Попов и П. Оболенский, В. Андреев и А. Вертинский.

Главная тема воспоминаний — крушение идеологии «белого движения» и признание Советской власти многими ее вчерашними врагами. Были здесь и размышления о человеческих судьбах, и картины эмигрантского быта, и описание причудливых переплетений политической борьбы.

О жизни русской эмиграции в Китае рассказала в романе «Возвращение» Наталия Ильина. Рассказывая о Тане, главной героине романа, писательница во многом поведала о своей собственной судьбе.

Родилась Наталия Ильина в дореволюционном Петербурге. После окончания гражданской войны вместе с родителями попала в Китай. Ее мать приложила немало сил для того, чтобы дать образование детям в нелегких условиях эмигрантской жизни. В Харбине Наталия Ильина окончила школу и училась затем в институте ориентальных наук (так называлось одно из высших учебных заведений, созданных в городе русскими эмигрантами).

С 1936 года она живет в Шанхае и начинает пробовать свои силы в одном из самых сложных жанров журналистики — пишет фельетоны. Во время Великой Отечественной войны работает в прогрессивной эмигрантской газете «Новая жизнь». После возвращения в 1947 году на Родину поступила учиться в Литературный институт им. Горького, который окончила в 1953 году. Ее имя стало известно широкому кругу читателей после опубликования в 1956 году в журнале «Знамя» первой части романа «Возвращение».

Писательница плодотворно работает в своем любимом жанре — фельетонистике. Ее фельетоны постоянно публикуются в «Юности» и «Крокодиле», «Литературной газете» и «Новом мире». В 1974 году вышел в свет сборник ее лучших фельетонов —«Светящееся табло». В 1980 году были изданы ее воспоминания «Судьбы. Из давних встреч». Готовится издание новой книги «Дороги. Автобиографическая проза».

Предлагаем вашему вниманию отрывок из эссе Н. Ильиной «Путешествие по Италии...», опубликованного в журнале «Новый мир» (№ 9, 1981 г.), в котором она рассказывает о встречах с русским эмигрантом, оставшимся жить на Западе.

10—875

Мой старый друг

В августе 1942 года я жила одна в маленькой чердачной квартире, стояла обычная влажная шанхайская жара, крыша, раскаленная за день, и ночью не остывала. На столе моем всегда раскрытая машинка. Обливаясь пóтом, я писала фельетоны и публицистические статьи в газету «Новая жизнь», созданную шанхайским «Союзом возвращения на родину». Несмотря на мучительную жару, на бедность, тревогу (шла битва за Сталинград), думаю, что была даже счастлива тогда: нашла себя, нашла выход своему публицистическому пылу, знала, кого любить, кого ненавидеть, во что верить, куда стремиться.

Стремилась я в Россию.

На этой почве мы и подружились. Как мы познакомились, где и кто познакомил нас, не помню. Помню лишь, как этот человек расхаживал по моей комнате, постоянно забывая о скошенном к окну потолке, стукался лбом, смущался, и я раздраженно:

— Да сядьте вы наконец!

Я была значительно моложе его, но с самого начала усвоила тон старшей, что объяснялось, видимо, его застенчивостью, вежливостью, уже тогда казавшейся старомодной (шаркал ногой, здороваясь), а главное — выражением доброты, особенно ясно проступавшим на его лице, когда он снимал очки и беспомощно моргал голубыми глазами. Долговязый, в открытой, с короткими рукавами рубашке, в шортах и длинных, до колен, носках (обычный летний мужской костюм тех мест, того климата), он часто снимал очки, вытирая вспотевшее чело маленьким махровым полотенцем,— и это полотенце, носимое за поясом штанов, было неизменной принадлежностью летнего костюма. И что-то детское было в том, что этот человек не выговаривал ни «р», ни «л», а вместо «ш» — что-то похожее на «ф».

Он работал тогда в Сайгоне, приехал в Шанхай на два месяца в командировку. Познакомившись со мной, разговорившись, почуял родную душу, стал приходить. Вместе слушали вечерние радиопередачи. Настежь распахнутое маленькое окно, никакой прохлады в него не вливается, зато отчетливо слышны звуки китайского музыкального инструмента типа флейты, одни и те же постоянно повторяющиеся высокие ноты, и это каждый вечер, я привыкла,



Широкую известность в СССР принес в 1957 году писательнице Наталии Ильиной роман «Возвращение», повествующий о жизни русской эмиграции в Китае.

я вроде бы и не слышу ничего, кроме голоса из радио, не слышу, но жара, чердак, флейта навсегда связались в моей памяти с теми тревожными днями.

Я России не помнила, он помнил — увезли одиннадцатилетним. Оба мы родились в том городе, о котором Ахматовой сказано: «А я один на свете город знаю...» Мы много говорили о нем, о блокаде, всего ужаса ее вообразить не могли, да и кто, этого не переживший, мог? Россия и война были нашей главной темой. Ну и о себе говорили. О том, как мы оба, откинув все, в чем росли, в чем воспитывались, дошли своим умом до понимания правильности всего того, что делается в СССР. И было много сходного в наших судьбах, судьбах эмигрантов второго поколения, сходных, несмотря на разницу лет, на то, что он рос, учился, жил во Франции, я — в Китае.

По-французски он говорил свободно, но с акцентом, по первым словам было ясно: иностранец. Ему следовало учиться особенно хорошо, чтобы неравенство с другими сгладить, как бы засыпать эту канаву, этот ров, отделявший его от молодых французов, живущих в собственной стране,— уже этим они были лучше его. Учился он блестяще, и были способности к профессии, еще с детства им выбранной, и все же стоило что-то не так сказать, позволить себе чем-то возмутиться, как в ответ немедленно: «Если вам у нас не нравится, почему вы не едете к себе?» Это произносилось ехидно-торжествующе — знали ведь, что ему оставалось только промолчать.

— И клянусь вам, отсюда вся моя застенчивость, которую я прекрасно сознаю, но с которой ничего не могу поделать! Когда вечно ощущаешь себя виноватым...

Волнуясь, он начинал ходить по комнате, стукался о косяк, снимал очки, моргал, тер лоб, и я ему: «Да сядьте вы наконец!»

Мне слышать слов «если вам у нас не нравится» не приходилось, их могли сказать только китайцы, но не в их школах я училась и работала не у них. Однако ощущение неполноценности, неравенства с другими живущими в Китае иностранцами присутствовало всегда. От них приходилось слышать такое: «белые второго сорта», «люди без национальности».

— Да, да, апатъиды!— подхватывал мой картавящий собеседник.

О, как хорошо из-за сходности наших судеб мы тогда понимали друг друга!

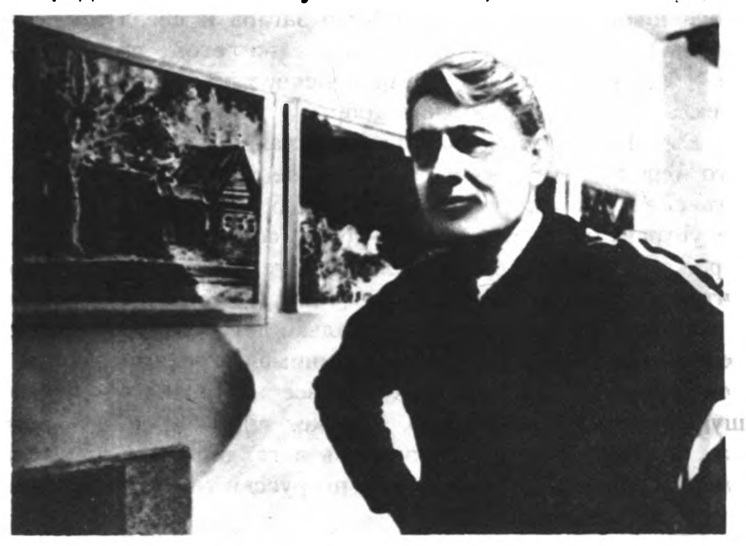
Но он любил Францию, был ей всем обязан, видел в ней вторую отчизну:

— Если бы случилось так, что Россия воевала бы сейчас не против немцев, а против французов — мне бы оставалось одно: застрелиться!

А я себя и не спрашивала никогда, какие чувства испытываю к стране, в которой выросла. Харбин и Шанхай были городами особыми, китайцы там жили своей жизнью, от нас отделившись...

Были минуты, когда нам казалось, что мы готовы ринуться в Россию немедленно, выехать завтра, лишь бы туда пустили! Там трудно, но ничего не страшно, когда ты у себя, среди своих, делишь их судьбу, и никто не бросит тебе в лицо: «Саль этранже!»

Осуждали родителей: зачем уехали, зачем нас увезли? Он родителей своих глубоко почитал, нежно любил (оба



Игорь Арзамасцев вернулся в СССР из Китая вскоре после второй мировой войны. Он художник, но не профессионал. Его основная профессия — металлург. Фото Г. Дубинского.

живы, оба в Париже) и говорил со свойственной ему извинительной интонацией:

— В то время они просто не понимали...

И до чего ж мы с ним были уверены, что сами все хорошо поняли и продолжаем понимать!

Расстались мы в первых числах октября: командировка кончилась, он вернулся в Индокитай. А вновь встретились спустя два десятилетия и тоже в октябре: Париж, год 1965.

Встречи после длительной разлуки всегда поначалу пугают: глядя на другого, ясно понимаешь, до чего же изменился и сам, и сразу с ходу начинаешь утешительную работу: «Да не так уж... Я б вас сразу узнала!»— ожидая и получая подобное же утешение.

За те пятнадцать лет, что и с той поры миновали, долгих перерывов в наших встречах не случалось: я ездила за границу к сестре, он и жена его туристами приезжали в СССР, и в дальнейшем старели мы уже почти на глазах друг у друга, а значит, постепенно, не так заметно...

Это только тогда, в 1965 году, я заметила в нем ощутимую перемену, а он, конечно, во мне... Погрузнел. Поседел. Побледнел — от субтропического загара и следа не осталось. Облачен в строгий костюм с жилетом, при галстуке — вид благополучного европейского джентльмена. А за стеклами очков — прежние добрые голубые глаза.

Европеец. Вот только неясно: какой национальности? Его французский язык выдавал нефранцуза. По-русски изъяснялся по-прежнему свободно, без акцента, но что-то не устраивало меня, с чем-то не соглашалось мое ухо. Прежде я над его русским языком не задумывалась: говорит нормально, говорит, как все мы. А тогда задумалась. И поняла, что я, прожив уже столько лет в своем отечестве, теперь иначе слышу, иначе воспринимаю речь эмигрантов, у некоторых вполне правильную и все же неживую, застывшую, законсервированную. Позже, впрочем, в его речи уже и неправильности появились и галлицизмы: родители умерли, жена — француженка, по-русски говорить месяцами не приходилось...

Уже тогда, во время нашей первой встречи в Париже, я увидела, что моему старому другу удалось пронести сквозь годы восторженное отношение к Советскому Союзу, ничем

не поколебленную уверенность: все, что делалось, все, что делается,— все правильно, все на благо! Ведь какой рывок сделала страна! Из отсталой, аграрной — мощная индустриальная держава. Очень гордился. Своей принадлежностью к русской нации гордился.

Тогда же, во второй половине шестидесятых годов, впервые после детства приехал в Россию вместе с женой, остановились в «Берлине», и очень пришлась ему по вкусу старая гостиница с расточительным простором ее комнат, мебелью прошлого века, лампой в виде обнаженной бронзовой девы со светильником в руке... «Берлин» стал излюбленным пристанищем, там, приезжая, и жил всегда. Лишь раз попал в «Интурист» — остался недоволен: да, вполне комфортабельно, да, все, что необходимо, налицо, но учтен



Известный мастер советской оперетты Владимир Канделаки, заметив в провинциальном театре актера-реэмигранта из Китая Юрия Савельева (справа), пригласил его на столичную сцену.

каждый сантиметр, никаких излишеств, скучный прагматизм XX века, но ведь от излишеств, от необязательного и получаешь радость, а без этого — скука, скука... Он вообще терпеть не мог современных коробочных зданий, и в Париже живет в старом доме, в старом квартале...

А в вечер своего первого приезда позвонил мне из отеля:

— У нас в ванной из крана идет горячая вода!

Таким радостным голосом сообщают друзьям о выигрыше в лотерею, и я не сразу усвоила, о чем речь, а усвоив, сказала:

— Разве вы готовились с ведром к колодцу ходить?

Назавтра снова телефонный звонок, чуть не в полночь... В тот день я наотрез отказалась идти с ним и женой его в кино: фильм, экранизацию знаменитого романа прошлого века, я видела, он мне резко не понравился, смотреть его вторично не собиралась... Но мой старый друг был в восторге, жена тоже. Да, да, она все поняла, она же читала роман!

Как мне попало в тот вечер! Как ругали меня за то, что я ругала фильм, утверждали, что я его просто не поняла. Они вот поняли, а я нет. Трудно было не вспылить от этих слов, я и вспылила, а потом, положив трубку, пожалела о своей несдержанности. Разве я сама не была такой же? Разве, живя в Шанхае, не восхищалась любым — повторяю: любым!— советским фильмом только за то, что на экране русские пейзажи, а с экрана — русская речь?.. Быстро забываешь себя ту, какой была когда-то. Быть может, я и горячей воде тоже изумилась бы, хотя верила в мощную индустриальную державу. Как смутно мы все себе представляли, какой загадкой была для нас эта заочно любимая страна! О, эмигрантское, за рубежом выросшее племя, я сама к нему принадлежала, но забыла, все забыла, и они — из того племени — уже и смешат и раздражают...

Уже не вспомнить, сколько раз после того первого посещения СССР мой старый друг сюда приезжал — групповой туризм не любил, средства позволяли ездить в порядке туризма индивидуального. В Москве — отель «Берлин», в Ленинграде — «Астория» или «Европейская», каждый приезд открывал ему еще какие-то новые светлые стороны нашей жизни, этими открытиями он делился со мной вечерами за рюмкой хорошей водки в прекрасном номере «Берлина» («Зачем идти в ресторан? Нам все принесут

сюда!»— нам все и приносили, включая зернистую икру в таком количестве, что ее хотелось есть ложками, а мой друг радостно замечал: «Как у вас все дешево!»).

За окном декабрь, снега и вьюги, в номере уютно, горит светильник в руке бронзовой девы, мой друг задумчиво:

— В Париже сейчас дождь, слякоть, сырость... Какой у вас здоровый климат! И никакие морозы не страшны, раз в домах так тепло.

Войдя впервые в мою квартиру, он сразу кинулся ощупывать батареи центрального отопления и восхитился — горячи!— затем кинул взгляд на пол и снова восхитился: прекрасный паркет, у нас он стоил бы бешеные деньги!

В один из его зимних приездов мои близкие друзья, постоянно живущие за городом, пригласили его с женой и меня встречать Новый год, мы там ночевали, а на следующее утро только и было разговоров что о белочке: белочка, сидевшая на выступе за окном, белочка на фоне стволов берез и кустов, покрытых снегом,— вот что увидели, проснувшись, парижане...

Лет семь прошло с того деревенского утра, но оно не забыто, о нем рассказано всем знакомым французам в Париже (воображаю их снисходительно-вежливые улыбки), о нем, об этом зимнем утре, я и недавно слышала во время нашего путешествия... Мы стояли на одном из флорентийских мостов, любуясь розовой от заката рекой Арно, аркой другого, дальнего моста, и я не знаю, какие ассоциации пробудили в голове моего друга воспоминания о белочке, почему он внезапно сказал:

— Никогда не забуду, как я проснулся и увидел белку за окном.

А в тот новогодний день в деревне я повела гостей гулять. По европейской привычке мой старый друг отправился на прогулку с непокрытой головой, нас не слушал, уверял, что на дворе тепло, день и в самом деле был тихий, мягкий, но как только мы вышли на открытое место — заснеженное поле, справа вдали темнела деревенька, на горизонте синяя полоска леса,— откуда-то взялся ветер, вздыбил седые волосы моего друга, жена и я заставили его надеть на голову кашне (сдался, надел, повязал у подбородка наподобие бабьего платка), и мы вновь двинулись вдоль опушки. Мы с женой его перекидывались

какими-то фразами, он шел следом, от нас отдельно, шел молча, и я, изредка оборачиваясь, видела растроганное выражение его лица... До сего дня стоит у меня перед глазами эта длинная фигура с бабьим платком на голове на фоне снежного поля, дальнего леса, зимнего неба.

Нет, он хвалил не все подряд. Он замечал у нас кое-какие недостатки и очень хорошо знал, что надо делать для их устранения. Настолько все прекрасно понимал, что вот даже и советовал («у вас...», «стоит вам...»), и уж кому-кому, а не мне бы раздражаться на это, разве я сама не была такой же? Едва успев сюда приехать, ничего толком не поняв, бралась судить, бралась учить. И все же раздражалась.

Он ухитрился законсервировать, пронести нетронутым сквозь десятилетия и свое восхищение Сталиным. Нет-нет, он не закрывал глаза на его отдельные ошибки, на то, что во времена его правления были нарушения законности и безвинно страдали люди,— но ведь это Россия! Благодаря мягкости, доброте, великодушию русского характера люди ухитрялись и в лагерях как-то существовать и выживать, ну, одним словом... Тут мой друг, примирительно мне улыбаясь, ищет подходящее русское выражение, не находит и произносит: «Он с'арранж!»

Вот это «он с'арранж» (как-то устраивались), сказанное, помнится, за чашкой послеобеденного кофе, за коньячком, налитым на дно широких внизу и сужающихся кверху бокалов, поставленных на низкий столик, а мы сидим в удобных мягких креслах,— это «с'арранж» произвело на меня сильное впечатление... В присутствии жены его (разговор происходил у них дома, в Париже) мы говорили на ее родном языке, иногда срывались на русский, сорвались и тут, и ей, естественно, невдомек, почему единственные понятные слова «он с'арранж» вызвали у меня такую бурную реакцию... А он улыбается своей доброй улыбкой, пытается превратить все в шутку, жена требует объяснений, я беру себя в руки (с трудом), молчу, пока он излагает ей предмет беседы, она вникла, кивает и мне примирительно:

— Что же вы рассердились? Ведь он такой патриот!

Он не был доволен своей жизнью, своей, казалось бы,

блестяще удавшейся жизнью: репутация фирмы на высоте, заказы сыпались со всех сторон, фирма богатела, вместе с ней богател и он, много путешествовал, в последние годы вместе с женой проводил летние месяцы в Греции, на Корфу: уединенное бунгало, морские прогулки на собственном катере. Вечерами читали русскую классику. Я не раз слышала: «Тем летом мы с женой взялись за «Братьев Карамазовых»... «Брались» они так: он читал по-русски, она этот же роман во французском переводе. Или: «Начали перечитывать «Анну Каренину», но больше пятидесяти страниц не одолели: скучно».

Вот какая любящая и понимающая жена попалась этому человеку: и читала то же, что он, и скучно ей становилось тогда же, когда ему,— ему на пятьдесят первой странице, а ей на соответствующем месте французского перевода. К тому же она вполне разделяла критическое отношение мужа к обществу потребления, к уродствам и несправедливостям, им порожденным... Оба считали бестактным жаловаться на неудобства, причиняемые разнообразными и многочисленными забастовками, а над теми, кто жаловался, посмеивались не без высокомерия: буржуа, эгоисты, обыватели, только о своих удобствах и думают, а до других им дела нет.

И с работой, значит, все клеилось, и дома единомыслие и обеспеченность. А он роптал. Сколько горьких слов я слышала от него за эти годы: «Я не человек. Я машина для зарабатывания денег!», «Да, я свое дело люблю, и все-таки работа для меня наркотик, чтобы не думать, не спрашивать себя постоянно: к чему все это? зачем я жил? зачем живу?»

Как он старался, этот человек, расцветить, украсить каждое мое пребывание за границей! Меня возили в замки Луары, катали по Нормандии и Бретани, водили в лучшие рестораны Парижа, развлекали, не жалея ни времени, ни денег, и это стремление всячески меня порадовать я объясняла не только тем нас связавшим воспоминанием о шанхайских днях (жара, чердак, флейта, радио, наша молодость, наша тревога), но и тем, что я — оттуда. Из страны, куда и он хотел вернуться, но не смог, а я вернулась и прижилась.

Та первая, суровая зима

Софья Ильинична Гудзь — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Львовского университета. В 1928 году ее родители в поисках заработка уехали с Западной Украины, которая тогда находилась под гнетом панской Польши, во Францию. Прожив почти двадцать лет вдали от Родины, семья Гудзь в 1947 году вернулась домой.

Почему они решили вернуться обратно? Как теперь живут на Советской земле? Об этом рассказывает в публикуемом ниже очерке журналист А. Осадчая.

Соня удивленно и выжидательно смотрела на родителей. Отец, всегда такой сдержанный и покладистый, на сей раз не уступал матери. Сосредоточенно перекладывая на столе кипы бумаг, фотографии, книги, он угрюмо молчал. А мать распалялась все больше. Подобные перепалки между родителями были так редки, что Соня и не помнит уже, когда такое было. А последнее время, когда стали собираться домой, в Россию, их семья стала особенно дружной. Только и было разговоров: когда поедем?

А что возьмем с собой?— об этом говорилось мало, потому что брать особенно и нечего было. Во Франции родители так и не сколотили себе состояния. Заработка отца хватало на жизнь, но не более того. Простенькая мебель, несколько платьев у матери и у девочек и один выходной костюм отца, который, Соня и не помнит, чтобы он надевал.

Соня и младшая сестра Аня после школы сразу прибегали домой и помогали матери. А она, перебирая их не-

хитрый скарб, безжалостно откладывала в одну сторону старые, ненужные вещи и отбирала то немногое, что возьмут они с собой в Россию для новой жизни. Часто приговаривала: всего не увезешь, без этого можно обойтись, главное, будем дома, на родной земле.

А тут вдруг эта ссора, из-за старых каких-то альбомов, плакатов, фотографий, газет. За годы их набралось немало. Соня помнит, как появились в их доме те первые книги — «Кобзарь» Тараса Шевченко, пьесы Ивана Франко. Помнит, что отец писал письма куда-то на Украину, долго ждал ответа и бурно радовался, когда наконец пришли эти книги. Вечерами, вернувшись с работы в шахте и отмыв в тазу с теплой водой свои заскорузлые руки, он допоздна сидел над этими книгами, переписывал в толстую тетрадку стихи, роли из пьес и раздавал своим соседям — русским, украинцам, таким же шахтерам, как и он. Когда девочки подросли и научились хорошо писать по-украински, он и их просил переписывать. По этим книгам научилась читать их мать, Юлия Семеновна, которая выехала во Францию из деревни Конюшково Львовской области безграмотной женщиной.

С появлением этих книг к ним в дом часто стали приходить соседи. Они подолгу сидели с отцом, что-то обсуждали, громко говорили, решили устроить вечер памяти Шевченко.

Соня с удивлением приглядывалась тогда к этим людям, которых знала не первый год, и раскрывались они перед ней с какой-то новой стороны. Мужчины, вечно хмурые, усталые, с рассветом отправлялись в шахту и, возвращаясь после работы, сразу разбредались по своим домишкам. А женщины, всегда озабоченные, постоянно хлопотали по хозяйству. Они редко собирались вместе, редко веселились. А уж чтобы петь песни, читать стихи — такого Соня и не припомнит.

Отец принес как-то пачку аккуратно нарезанной плотной бумаги и сказал дочерям:

— Садитесь, пишите пригласительные билеты. Вход платный, деньги пойдут в фонд помощи больным шахтерам.

Уж сколько лет прошло с тех пор, а Соня в деталях

помнит тот первый вечер. В шахтерском поселке Салямин, что на севере Франции, не было особых развлечений. Школа, бар, где по вечерам иногда собирались шахтеры, и маленький, мест на сто, кинотеатр. Шахтеры сняли в аренду зал кинотеатра и устроили там вечер.

Соня думала, что только у ее матери есть такой красивый, вышитый разными узорами украинский костюм, что лежал обычно на дне сундука и который мать в общем-то никогда не надевала. А тут вдруг на сцене выстроился хор. Все женщины в таких же костюмах... А мужчины — неузнаваемо нарядные в вышитых белых рубашках, чисто выбритые. Они как-то застенчиво улыбались и не знали, куда девать свои тяжелые шахтерские руки.

Маленький зал не мог вместить всех желающих. Люди сидели на подоконниках, толпились в проходах и дверях. Пришли на вечер не только украинцы и русские, немало собралось французов. После первых волнений наступила тишина, и над залом, вырываясь за его стены, понеслась, как стон, как эхо, песня «Реве тай стогне Днипр широкий...». А потом отец читал «Завещание» Тараса, и она, Соня, декламировала «Думы мои, думы мои...».

Соне было тогда лет восемь, ей было очень весело и радостно в тот вечер. Она смотрела на лица в зале, улыбалась людям и не понимала, почему многие из них украдкой вытирают слезы, почему грустны их лица... Такое грустное лицо она обычно видела у отца, когда он читал письма из Львовской области. Там у родителей остались какие-то родственники, которых Соня знала лишь по фотографиям.

Супруги Гудзь приехали во Францию в 1928 году. И отец был счастлив, найдя сразу работу на шахте. А для матери в поселке работы так и не нашлось. Да и когда ей было работать, один за одним пошли дети, которых она рожала здесь же, в маленьком домишке. Трое из пятерых умерли совсем маленькими, остались Соня и Анюта.

Девочки, можно считать,— коренные француженки, но Франция для них ограничивалась этим маленьким поселком Салямин, за пределы которого они никогда и не выезжали. Так что, прожив пятнадцать лет во Франции, Соня единст-

венный день проездом была в Париже, когда они возвращались в Советский Союз.

Дети росли, играли на пыльной дороге возле дома. Соня только первый год пошла в школу, когда началась война. Собственно, в их поселок война особых изменений не принесла. Мужчины по-прежнему работали на шахте. Никто здесь не стрелял, жизнь текла как и прежде. Лишь школу закрыли, потому что в ней разместились немцы, которые охраняли русских военнопленных, работавших на шахте. С едой тогда стало очень плохо. И Соня удивлялась, почему отец, отправляясь на работу, брал с собой обед в два раза больше, чем раньше. И лишь позже девочка узнала, что шахтеры-украинцы, договорившись меж собой, в шахте тайно подкармливали советских военнопленных.

В годы войны в их доме тоже собирались по вечерам шахтеры. Только теперь они не разучивали стихи и не пели песни, а тихо о чем-то переговаривались между собой. А детей чаще всего отправляли на улицу гулять.

Потом как-то, это уже сразу после войны, к ним в дом пришел один молодой русский. Он радостно обнимался с отцом и говорил, что отец спас ему жизнь, помог бежать из лагеря. Парень был говорливый, очень худой и веселый, сообщил, что на днях уже возвращается в Советский Союз, звал с собой и отца.

— Давай, Илья,— убеждал он,— поедешь пока один, поглядишь, как что там, а потом вызовешь семью.— Отец грустно качал головой, посматривал на девочек... и не поехал. Но с тех пор разговоры о возвращении на Родину возникали часто.

Соне было тогда уже почти четырнадцать лет, она все прекрасно понимала, но не придавала этим разговорам серьезного значения. Куда ехать, зачем ехать? Здесь у них свой дом, она отлично учится, а после школы можно будет уехать в Париж, которым грезили все девчонки, и устроиться работать продавщицей. Уже тогда на Соню заглядывались парни, все говорили, что она очень симпатичная девчонка. И Соня думала, что она в Париже не пропадет. А в Россию ехать? Зачем? Там была война, говорят, все разрушено и есть нечего.

Однако шахтеры, собираясь в доме отца, все чаще и

чаще говорили о России, о возвращении на родину. А потом вдруг все решилось на том первомайском слете.

В 1946 году украинцы решили организовать в Салямине первомайский слет. Илья Николаевич выезжал тогда в другие города, приглашал соотечественников. Соня по просьбе отца шила красные банты, которые раздавались участникам слета. А мать на красном полотнище вышивала серп и молот.

Тогда на слете перед шахтерами выступал советский офицер. Соня отлично помнит его речь, он говорил, что почти все разрушено в Советском Союзе, многие живут в землянках, ютятся по нескольку семей в одной комнате, с едой плохо, продукты только по карточкам, работают люди много, чтобы восстановить страну. И в заключение офицер сказал:

— Мы не хотим обманывать вас, не рисуем перед вами никаких иллюзий, но Родина ждет вас, если хотите помочь ей — приезжайте.

Соня слушала и думала: теперь, после таких слов, уж наверняка никто не захочет ехать. И каково же было ее удивление, когда десятки шахтеров стали подходить к офицеру: запишите меня, мы поедем. И одним из первых записался отец.

Почему они решили ехать тогда? Соня часто спрашивала себя, задавала этот вопрос соседям, родителям. И лишь много позже сама поняла почему.

В 1947 году большая группа русских и украинцев с севера Франции на теплоходе «Россия» возвращалась домой, в Советский Союз. Соня впервые в жизни выехала за пределы Салямина, впервые ехала на поезде, плыла на теплоходе. Все вокруг нее были веселые, возбужденные, много спорили меж собой, а вечерами на борту теплохода пели незнакомые ей, такие приятные русские песни.

Теплоход прибыл в Одессу, а оттуда уже все разъехались кто куда. Тогда, в Одессе, Соня впервые увидела разрушенные улицы, пустые глазницы домов, и ей стало страшно: зачем поехали, где они жить будут?

А жить действительно было негде. Родители приехали в деревню Конюшково Львовской области. Отсюда они уезжали во Францию, здесь у них оставались родственники и

дом, который они тогда не продали, надеясь, что когда-нибудь вернутся обратно.

Вот и вернулись. Но дома не было. Почти все село спалили фашисты, повсюду сиротливо глядели в небо голые печные трубы. Люди жили в землянках. Но для «французов» дирекция совхоза выделила комнату в одном из уцелевших домов.

Приехала семья Гудзь в Конюшково весной. В розовом цвете стояли уцелевшие после войны сады, а там, в их шахтерском поселке, почти не было зелени. И Соне та первая весна запомнилась ароматом цветущих садов и ощущением грядущего счастья.

И еще Соне запомнилось, как сельчане отмечали пасху. Все ходили веселые, целовались и предлагали друг другу разные угощения. В их доме тогда, казалось, перебывало все село. Всем хотелось познакомиться с «французами», посмотреть на новых людей, порасспросить, как там, за рубежом, почему вернулись назад и как им здесь живется. И все несли в их дом угощения: яйца, пироги, хлеб, ряженку в кринках. Нанесли столько, что на неделю семье хватило, и было это очень кстати, ведь своего хозяйства тогда у них еще не было.

Отец начал работать в совхозе механизатором, мать — на строительстве фермы, а девочки сразу же пошли учиться в школу. Во время каникул они помогали матери на ферме. За лето многие сельчане поставили себе небольшие домишки, освободилась одна из комнат в совхозном доме, где жили Гудзь, и семье дали вторую комнату. Словом, жизнь налаживалась.

Но вот пришла зима, ударили морозы, и оказалось, что ни родителям, ни девочкам выйти из дому не в чем. Таких морозов они во Франции не знали. Привезли с собой ботики, легонькие пальто, куртки, на которые с завистью поглядывала сельская молодежь. Но в морозы что делать? Денег нет, да и купить теплые вещи негде. И девочки перестали посещать школу. Отец, уходя на работу, надевал на себя все, что было в доме. Но однажды вернулся с работы веселый, раскрасневшийся — в новом добротном тулупе и в высоких негнущихся валенках. Девчонки так и ахнули. А отец гордо распахнул тулуп и рассказывает:

— Встречает меня сегодня директор совхоза, говорит,

в чем же ты ходишь, так и простудиться недолго. Найдем для француза тулуп...

А вскоре, прослышав о беде приехавшей семьи, к ним в дом стали заходить соседи. Несли кто телогрейку, кто старенький тулуп, кто протертые валенки. Конечно, вещи не новые и не такие красивые, как отцовский тулуп, но теплые. И главное, дарили сельчане от души, они приняли в свою семью приезжих «французов».

Молодости всегда свойственно стремление к перемене мест. И как раньше, во Франции, Соня мечтала вырваться за пределы шахтерского поселка, уехать в Париж, так и теперь она стремилась в большой город. Во Франции пределом ее мечтаний было стать продавщицей, учиться после школы не было средств. Теперь, уехав во Львов, она сразу поступила в педагогическое училище, ей дали место в общежитии, стали платить стипендию.

Каждое лето она приезжала на каникулы к родителям в деревню, которую считала теперь своей родной. А потом, окончив педучилище, стала учительствовать здесь же, в новой школе. Деревня после войны быстро отстроилась, появилась не только школа — клуб, кинотеатр, больница, которая была очень кстати: отец, проведший двадцать лет под землей, в шахте, теперь часто болел.

Через несколько лет Соня поступила во Львовский университет на отделение иностранных языков. Окончила его, и как лучшую выпускницу ее направили в аспирантуру. И теперь уже который год кандидат филологических наук Софья Ильинична Гудзь работает старшим преподавателем Львовского университета.

Софья Ильинична любит поиронизировать над своими девичьими мечтами — стать продавщицей. И разве думала она, что будет когда-нибудь ученым человеком, публиковать свои научные труды, выезжать на международные симпозиумы, а дочь ее будет учиться в консерватории.

Получив большую квартиру во Львове, Софья Ильинична решила, что и родители должны жить вместе с ней. Оба на пенсии, частенко прихварывают... Но стариков пришлось долго уговаривать, не хотели покидать свою деревню, которая так по-родному приняла их сразу после войны.

СТЕПАН ЭРЬЗЯ: «Я вернулся домой работать»

Эрьзя — псевдоним скульптора Степана Дмитриевича Нефедова (1876—1959). По национальности Нефедов — мордвин, точнее мордвин-эрзя. Дело в том, что поволжский народ мордва делится на две ветви-народности: эрзя и мокша. Выбором псевдонима художник подчеркивает свое происхождение. На рубеже веков это было вызовом: в царской России случалось, что в слово «эрзя» вкладывался пренебрежительный, оскорбительный смысл. Пришлось это испытывать на себе и молодому Нефедову, выходцу из беднейших слоев народа, с огромным трудом получившему образование.

Талант Эрьзи был замечен рано. В первые годы XX века он работал в Италии и во Франции, имел успех, пресса называла его «русским Роденом». Эрьзя удостоен редкой чести — ему, скульптору из России, заказали статую Иоанна Крестителя для нового храма в итальянском городе Специи. Делал он скульптуры и для одного из итальянских рабочих клубов. Из Западной Европы скульптор вернулся в Россию в 1914 году. Во время первой мировой войны служил в армии.

Октябрьскую революцию Эрьзя, человек глубоких демократических убеждений, принял всем сердцем. В первые послереволюционные годы он много и плодотворно работает. В 1925 году в статье о художественных выставках А. В. Луначарский писал в газете «Известия»:

«Наибольшее же внимание мое привлекли вещи Эрьзя. Этот революционный скульптор, который с таким трепетом ждал революции как освобождения, как полной возможности служить ей, благодаря целому ряду недоразумений (в которых, между прочим, не без вины и художники «крайнего левого» направления) продолжал свою работу в неблагоприятных условиях и все же явился на выставку с целым рядом интереснейших произведений... Необходимо отметить Эрьзю, необходимо дать ему лучшие условия работы».

Казалось бы, для скульптора на Родине все складывается благоприятно. Но именно в это время жизнь Степана Дмитриевича Эрьзи потекла совсем по другому руслу. Он уехал на Запад и прожил там почти четверть века (1926—1950).

К сожалению, скульптор не оставил мемуаров. Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из книги советского писателя Бориса Полевого, который хорошо знал Эрьзю, часто встречался с ним после его возвращения в СССР. Книга Б. Полевого «С. Эрьзя» издана в 1969 году на родине скульптора, в Мордовии. Там, в Саранске, столице Мордовской автономной республики, создан музей скульптур Степана Эрьзи. Его работы экспонируются в Третьяковской галерее и других музеях Советского Союза.

Его русские «дети»

...В ту пору Советское правительство отправляло за границу несколько художественных выставок. В числе их с выставкой лучших своих работ был направлен в 1926 году в Париж и С. Эрьзя. Выставка имела шумный успех. Западная пресса вновь поднимает вокруг его имени преувеличенный и на этот раз, несомненно, уже провокационный гвалт. Снова дождем сыплются гипертрофированные эпитеты. Мелькают трескучие сравнения «волжский Роден», «русский Бурдель». Выставку из Парижа перевозят в столицу Уругвая — Монтевидео. Оттуда она перекочевывает в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Газетная шумиха вокруг искусства и самой личности С. Эрьзи нарастает.

Успех выставки в западных странах, газетный бум, сопровождавший ее, в конце концов обернулись для скульптора трагически. Думается мне, что на этом тяжелом примере можно лишний раз проследить растлевающее влияние буржуазной моды на истинный талант, понять цену успеха мастера в мире, где все, в том числе и дарование, служит предметом обычной купли и продажи, где в угоду сенсации, мнимой оригинальности раздуваются слабые стороны творчества, а ошибки и промахи таланта воспеваются...

— Я понял это, но поздно. Когда уже расплатился за такое понимание слишком дорогой ценой,— вырвалось однажды у Степана Дмитриевича, когда мы вечером, не зажигая света, сидели у него в студии на Новопесчаной улице возле телевизора, на котором на электрической плитке... варился столярный клей.

И в самом деле, судя по газетным рецензиям, посетителей зарубежных выставок не интересовали истинные проявления дарования С. Эрьзи, и прежде всего его самобытность, уходящая корнями в народное творчество, не

увлекало его чувство жизни, знание анатомии человеческого тела, оригинальность видения, меткость портретных характеристик. Все это оставалось незамеченным. Во всяком случае, об этом не говорилось. Его скульптуры, носящие в себе горячее дыхание Октябрьской революции, содержащие революционный заряд, словом, все, что ценили и горячо, искренне приветствовали его соотечественники, вовсе замалчивалось. Зато газеты и журналы, не скупясь, расхваливали скульптора как некий экзот, как туземца волжских лесов, а торопливую вычурность, свойственную иным и, разумеется, не лучшим его работам, возводили в степень мастерства, расписывали эти работы, как будто бы перекликающиеся с ритуальными скульптурами древних ацтеков и майя и чуть ли не со скальными рисунками первобытных людей. Такие сравнения были очевидной чепухой, ибо обсуждались произведения настоящего мастера. Тем не менее главный разговор шел об этом. Не было недостатка и в сравнениях со знаменитыми мастерами, в которых оригинальное и самобытное творчество С. Эрьзи уж вовсе не нуждалось.

Кончилось же все это с точки зрения большой судьбы мастера, как я уже сказал, трагически. Вместо того чтобы вернуться домой, к своему народу, скульптор, оказавшись на противоположном конце земного шара, осел в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где и провел тридцатые и сороковые годы. Тот же трескучий, нездоровый успех сопутствовал ему и за океаном. Падкие на сенсацию банкиры, земельные магнаты и даже сам диктатор Аргентины Хуан Перон заказывали ему свои портреты. Президент часами позирует мастеру в его студии. Пресса продолжала надсадно трещать о нем. Он был известен, жил в достатке, но, по его словам, никогда не испытывал настоящего удовлетворения. «Не то, не то»,— думал он. Образ далекой Родины ни на один день не покидал его. Мысль о том, что надо вернуться домой, все больше овладевала им, и с возрастом рос страх — а вдруг умрешь здесь, на чужбине, всем чужой, не повидав все то новое, удивительное, необычное, что построено в Советском Союзе рабочими и крестьянами, что он горячо приветствовал в самый момент рождения, чему служил своим резцом в первые годы Советской власти и о чем

он теперь узнавал из искаженной информации чужих, враждебных газет. Умереть здесь, в чужой стране, оставить чужим людям все, что создано десятилетиями труда? Нет, нет, нет!

Старому художнику становилось страшно.

Несколько раз он собирался подать заявление в Советское посольство и все откладывал. В эмигрантских кругах гудели ему в уши: вас сразу же схватят, арестуют, сошлют в Сибирь. В это С. Эрьзя не верил. Он уже сполна познал цену эмигрантскому злопыхательству. Но были сомнения, казавшиеся ему более реальными: он одинок, стар, его работы, которые теперь наполняют в Аргентине залы художественных выставок, не известны новому поколению советских людей, выросшему в социалистическом мире после того, как он его покинул. Как его примут? Не устарело ли для них, так быстро шагающих вперед, его творчество?

И он откладывал уже написанное ходатайство.

В этом постоянном борении с самим собой и жил художник все последние зарубежные годы. Речь шла не об известности и не о материальной стороне существования. Он в моде, корреспонденты больших газет берут у него интервью. Статьи о нем то и дело мелькают в журналах. Он живет в большом красивом городе. Его работы привлекают внимание. Но разве для него, человека, дышавшего воздухом Великой Революции, уехавшего сюда от народа, который там, на другом конце планеты, созидает новую, небывалую жизнь, разве для него, художника, мечтавшего «развернуть гору», чтобы создать величайший из монументов в честь величайшей из революций, преуспеяние модного мастера может быть истинной целью жизни?!

Умудренный годами, он уже понимал и истинную цену этого своего «успеха», понимал, сколь трагичен и даже обиден сенсационный гвалт вокруг отдельных его скульптур, понимал, что и его самого хотят превратить в модную игрушку скучающих богачей, которые охотно покупают его работы, но ничего не смыслят ни в них, ни в искусстве вообще. И аргентинские журналисты пишут о странной черте в поведении необыкновенного скульптора: он отказывается продавать лучшие из своих скульптур, за которые

коллекционеры сулят особенно выгодный гонорар. Он оставляет их у себя. Он для чего-то копит эти свои выдающиеся работы. А так как он работает неутомимо, в его мастерской скапливается огромное собрание скульптур. Оно продолжает увеличиваться и привлекает к его мастерству все больше и больше.

Газетные интервьюеры спрашивают:

— Почему вы, живя так скромно, не продаете того, за что предлагают большие деньги?

Скульптор загадочно улыбается и отвечает:

— Я бездетный человек, это мои дети. Мне хочется, чтобы они оставались со мной.

— Но у ваших «детей» в отличных музеях будет прекрасное будущее...

— Они русские — мои дети. Вдали от родины они зачахнут от ностальгии.

Интервью обычно заканчиваются рассуждениями репортера о странностях русского мастера, о его непонятной художнической скупости.

Когда мы с женой были в Аргентине, замечательный художник Антонио Бьярни повез нас на одну из тихих, красивых улиц к небольшому, спрятанному в тропической зелени дому, где жил и работал Эрьзя. Там теперь обитали другие люди. И хотя с того времени, когда мастер с Волги покинул дом, прошли годы, в нем как бы продолжал жить его дух. Нам охотно показали огромную застекленную террасу, где была его студия, и просторную гостиную и... крохотную каморку под лестницей, где жил он сам. Теперь там проживала хозяйская собака. Дружелюбные аргентинцы, охотно показавшие, где и как жил «гранмаэстро» дон Стефано, клялись, что именно эта каморка в большом доме и была его «личным апартаментом».

Бьярни подтвердил: действительно так.

— Этот человек мог бы зарабатывать миллионы: он день и ночь трудился... Его скульптуры ценились высоко. От богатых заказчиков не было отбоя. Но лучшие он копил и складывал в задних комнатах... Показывал только друзьям... Его здесь никто не понимал: загадочная русская душа. Достоевский...

Другой аргентинский художник, Хосе Карлос Костаньи-

но, считающийся одним из первых мастеров страны, говорил:

— Удивительное искусство! Покоряющее. На иные скульптуры можно смотреть часами... Я горд, что этот старый чудак дружил со мной... Я не знаю, любил ли его кто-нибудь здесь, но все уважали.

Мечта вернуться на Родину к своему народу, народу-скульптору, ваяющему по ленинским планам новую прекрасную жизнь, наконец, побеждает сомнения. И у него возникает решение: он поедет домой, но не как блудный сын — босой, в рубище и с пустыми руками. Вернувшись, он подарит советским людям все лучшее, что он создал. Вот почему он, поражая аргентинцев, и «копит» свои скульптуры, отказывается от самых выгодных предложений музеев и коллекционеров. За одну из его работ — голову библейского Моисея — североамериканский мультимиллионер сулит ему десятки тысяч долларов. Скульптор отказывает. Даже этот соблазн не поколебал С. Эрьзю, в сущности, всегда относившемуся к материальному преуспеянию и деньгам равнодушно.

И вот настает радостный в его биографии день: Советское правительство удовлетворяет ходатайство о возвращении на Родину. Известие, что С. Эрьзя покидает Буэнос-Айрес, сразу же облетает аргентийские газеты. И конечно же, особенно широко и недружелюбно комментируются его слова, что распродажи скульптур не будет, что все он везет домой в безвозмездный дар советскому народу.

Отношение к скульптору сразу резко меняется. Те из буржуазных почитателей, что недавно покровительствовали ему, отворачиваются. Доходит до того, что когда скульптор, упаковав свои работы в ящики, ждет парохода, который должен отвезти его на Родину, хозяин дома, в котором С. Эрьзя долго жил, расторгает с ним договор и подает в суд, требуя выселения. Полиция устанавливает за Эрьзей наблюдение.

Но все это не пугает семидесятилетнего мастера. Что могут означать все эти мелкие укусы, когда впереди Родина, та самая Родина, с которой он и на чужбине мысленно не расставался, по которой он тосковал, образы которой вдохновили его на создание лучших произведений.

И вот в 1950 году Степан Дмитриевич снова дома, в родной Москве.

В одном из кварталов Новопесчаных улиц, в только что отстроенном, пахнувшем краской доме ему отведена квартира. Невдалеке от нее, в таком же новом доме, два просторных, предназначенных под магазины, помещения, выходящие окнами в молодой сквер, ему дали под студию. Сюда привозят его скульптуры — лучшее, что он создал за полвека работы, что копил, с чем не расставался и что теперь безвозмездно подарил своему народу. В этом вся жизнь мастера, у которого нет ни родных, ни близких, в этом его достояние.

Заперев квартиру на ключ, он переселяется сюда, в свою мастерскую, вместе со старым, бородатым псом Леоном и таким же старым и ленивым котом — единственными, по словам скульптора, настоящими друзьями, каких он приобрел за долгие годы жизни за рубежом.

Студия огромная. Это анфилада смежных комнат с большими зеркальными стеклами. Но С. Эрьзя привез с



Скульптор Степан Дмитриевич Эрьзя в своей мастерской. 1954 г. Фото Э. Эвзерихина.

собой столько работ, что даже после того, когда некоторые из них были приобретены для лучших хранилищ произведений искусства в Москве и Ленинграде, скульптурам тесно. Они теснятся в беспорядке.

Жизнь не приучила С. Эрьзю к комфорту. Он до конца своих дней не позаботился даже как следует расставить все эти художественные богатства, искренне полагая, что настоящая работа в любом положении говорит сама за себя. Скульптуры бессистемно теснились около стен, громоздились на полу. Чтобы как следует рассмотреть все это, приходилось протискиваться между ними, присаживаться, вставать на цыпочки, изгибаться.

Но иногда мне думалось, что в этой бессистемной расстановке массы работ была все же своя система. Попав в мастерскую, ты невольно начинал ощущать себя в сказочном мире. Человеческие лица — маленькие, большие, гигантские, такие разные по облику, по выражению, по характеристикам,— смотрели, именно смотрели со всех сторон. Рядом с огромной головой библейского Моисея неслась, будто витая в воздухе, прекрасная танцовщица, как бы запечатленная на какое-то мгновение в стремительном полете. Любовь, ненависть, горе, ужас, радость — все человеческие состояния, кроме, пожалуй, покоя, глядели на вас со всех сторон, и вы вдруг начинали ощущать себя среди всех этих скульптур как Данте, опустившийся в преисподнюю, окруженный кипением человеческих страстей.

И среди всего этого нагромождения скульптур, которые можно было рассматривать часами с беспомощным сознанием, что всего все равно увидеть и осмыслить не удастся, не обращая внимания на вас и других посетителей, работал маленький старичок в старой, обтерханной кожаной курточке. Не замечая вас, не обращая на окружающих ни малейшего внимания, весь погруженный в свои мысли, он, держа в руках механический резец, напоминавший зубоврачебный бур, трудился над причудливым куском дерева, весь в своей мечте, весь захваченный замыслом, ничего кругом не видя, не слыша, ничего не желая видеть и слышать. С лысым черепом, опушенным сверкающими сединами, с косматыми бровями, с сивыми усами, закрывающими рот, он был похож на волшебника, который вызвал из

массы древесных нагромождений весь этот хоровод человеческих лиц и фигур, но, вызвав, сам попал к ним в плен и не имеет сил оторваться от них хотя бы на мгновение.

Да, так оно, в сущности, и было в самом реалистическом плане. Имея хорошую квартиру, скульптор почти не бывает в ней. Он так и живет в мастерской, в маленькой каморке, построенной, вероятно, для сторожа магазина. Здесь стояли железная походная кроватка, кое-как застланная, самодельный стол, пара стульев и роскошный телевизор, на котором сипел примус, а на нем хлюпала банка со столярным клеем. Телевизор этот подарили ему друзья, чтобы нарушить его такое странное одиночество. Ничего не вышло. Одиночество это он тщательно оборонял. Ему довольно было своих замыслов и своих работ. С ними он не скучал, и бедный, заляпанный клеем и красками телевизор так морально и устарел, ни разу не включенный.

Вернувшись в Москву после двадцатилетнего отсутствия, скульптор не узнал столицы. Она стала совсем иной. Сохранив лучшее из того, что украшало ее когда-то, она, к его удивлению, совершенно преобразилась. Знакомые улицы раздались, превратились в проспекты, маленькие площади расширились, над Москвой-рекой повисли красавцы-мосты. Каждый уголок столицы таил для него свой сюрприз. И не нашел он в столице точки, с которой не были бы видны стайки гигантских стальных аистов-кранов, поднимающих кирпич, цемент, балки на гребень новых зданий, рождавшихся уже на его глазах. Скульптор жил в новом районе, где еще совсем недавно, во время войны, шумела сосновая роща. Он бродил по Москве, поражался, удивлялся, радовался.

Но особенно поразили старого мастера сами москвичи, советские люди. Он покинул Родину в 1926 году, когда миллионы зрелых и пожилых тружеников вместе со своими детьми и внуками сидели над тетрадями, ликвидировали неграмотность, а вернулся в страну, где уже вводилось всеобщее среднее образование. Он помнил, как на первых художественных и скульптурных выставках, в музеях и хранилищах русского искусства, по-настоящему лишь теперь открывшихся для народа, среди обычных, привычных посетителей еще только начали появляться старые степен-

ные рабочие, фабричные девушки в красных косынках, как на цыпочках, чтобы не тревожить музейной тишины, шли через залы красноармейцы и еще редко, очень редко можно было видеть возле картин и скульптур робкого бородатого крестьянина в косоворотке, иногда даже в лаптях или чунях.

И вот Степан Дмитриевич увидел народ, приобщенный к искусству, любящий, понимающий его, умеющий самостоятельно взвешивать культурные ценности, увидел, как сотни и тысячи людей, в массе которых трудно уже и отличить юную работницу от студентки, рабочего от инженера, агронома от колхозника, жадно интересуются всем новым в искусстве, активно отвергают и критикуют то, что им не нравится, и готовы со всей страстью советского человека защищать и превозносить то, что пришлось по душе, что тронуло сердце.

Старый мастер, привыкший слушать на выставках приговор избранных, вернее, людей, самих себя избирающих в судьи, сразу же окунулся в атмосферу горячих творческих споров, острой полемики, объектом которой сделалось и его столь самобытное по манере исполнения и столь для советских зрителей необычное по тематике творчество.

И сразу услышал самые противоречивые суждения.

Одни, подобно излишне восторженным рецензентам из дореволюционных русских газет и журналов и западным критикам, возносили его до небес и, не скупясь на преувеличенно восторженные эпитеты, сравнивали его уже даже не с Роденом и Паоло Трубецким, а с самим Микеланджело.

Другие, наоборот, столь же категорично отвергали всякое художественное значение его произведений и осуждали самоё манеру его творчества, причем тоже не стеснялись в эпитетах.

Споры эти разгорелись в мастерской художника, вышли на страницы печати и, наконец, с особой остротой и, как мне кажется, поучительностью продолжались на выставке его произведений, устроенной Московским отделением Союза художников летом 1954 года.

Все, что С. Эрьзя создал за полвека своей работы, нельзя, разумеется, оценивать в целом. Были у него взлеты и падения, успехи и горькие неудачи. Дурную услугу его твор-

честву оказывала, разумеется, западная печать, устраивая вокруг него порой целую свистопляску, вознося не лучшие его работы, а именно те, что носили на себе черты декадентского манерничанья, она все время стремилась сбить его с правильного пути, по которому он шел.

В раскаленной атмосфере Октябрьской революции это влияние как бы перегорело. С. Эрьзя с радостью, с упоением работает над темами революции. Потом отъезд, отрыв от своей революционной Родины, Аргентина и снова трескучий шум вокруг имени скульптора, зыбкая и нездоровая известность. Именно этим, думается мне, и можно объяснить, что среди работ этого мастера немало таких, где форма довлеет над содержанием. Безликие, бесхарактерные декадентские профили, изломанные позы, театральная трагедийность иных фигур, эти неестественно развалившиеся в любовной истоме женщины — все это лишь дань чужому, растлевающему западному влиянию, измена самобытности, той самой самобытности, которой сильно и дорого творчество мастера. Это все вынесено из тупика, в который толкала его буржуазная действительность, из тупика, откуда он столь решительно вырвался уже в преклонном возрасте, увезя на Родину лучшее из того, что создал и имел.

Но говорить обо всем этом нужно честно, с полным уважением к мастеру, не забывая о том, что в большинстве своих работ С. Эрьзя, прошедший нелегкий, извилистый жизненный путь, все же остался самим собой, сыном бурлака, талантливым сыном своего талантливого народа.

...В день его 80-летия мастер был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Выставка работ С. Эрьзи, организованная в Москве, привлекала такое внимание зрителей, что в течение почти десяти дней выставочные помещения буквально ломились от посетителей, и с этого времени и до самой кончины скульптора в его мастерской всегда толпились люди. Толстая общая тетрадь, небрежно лежавшая на ящике, служившем пьедесталом для одной из скульптур, быстро заполнялась горячими отзывами и заменялась другой.

Мастер вернулся на Родину глубоким стариком. Но он вернулся не на покой, хотя покой и был им заслужен. Несколько лет он приводил в порядок, реставрировал попор-

ченные временем, пострадавшие при перевозке сульптуры. Он хотел, чтобы его подарок был передан народу в хорошем состоянии. А так как и тут он делал все своими руками, без чьей-либо помощи, на это ушло много времени и сил.

Но и резец у него не отдыхал. За это время из-под него вышло несколько интересных работ. Это уже не земляки из далекого прошлого, образы которых скульптор воскрешал по памяти. Это советские люди сегодняшнего дня. Это наши современники. И как разнится облик новых скульптур с обликом всего того, что до сих пор выходило из-под рук мастера!

Вот одна из первых его работ, сделанных в Москве. Это широко известная скульптура «Москвичка», получившая такую дружную похвалу от многочисленных посетителей выставки. Очень запоминается голова юной красивой девушки с широко раскрытыми, жадно озирающими мир глазами, с улыбкой, которая скорее угадывается, чем видится на свежих губах. Интересна история этой скульптуры. Старый мастер не искал модели. Он просто со дня приезда жил мечтой изобразить хорошую советскую девушку, которая, по его мысли, могла бы олицетворить образ того нового поколения советских людей, которое выросло, когда он был за океаном. И вот она сама пришла к нему однажды в студию с шумной ватагой студентов. Она оказалась именно такой, какой он ее представлял. Скульптор тут же жадно принялся за работу. Несколько дней он трудился не покладая рук. Так возникла головка юной москвички.

Двери его мастерской всегда были открыты, и можно без опасности впасть в преувеличение сказать, что ни одна скульптурная мастерская столицы не пропускала столько посетителей, сколько эти просторные залы, загроможденные, именно загроможденные массой интереснейших работ.

...Люди шли, шли через его мастерскую. Работая, он приглядывался к ним и с волнением замечал, как они жадно смотрят. Какая непосредственность, как активно на все они реагируют, как тянутся ко всему хорошему! Так, среди этих посетителей пришла сюда однажды другая юная москвичка — девушка с необыкновенно пышными волосами пепельного цвета. Скульптору понравилось ее милое, нежное и в то же время энергичное лицо, ее немного зас-

тенчивый, но прямой и честный взгляд. Скульптор спросил, кто она, девушка ответила: студентка. Потом, во время сеанса, выяснилось, что студентка эта совсем недавно была штукатуром на стройке. Она уже знала, что такое труд, но он не огрубил ее: нежная юность так и светилась в глазах девушки. Так возникла другая новая скульптура, «Студентка», выточенная из альгарробо.

Лета сказывались. Скульптору трудно было ходить. В последние годы он уже редко покидал свою студию. Он и на квартире своей почти не бывал. Но жизнь сама врывалась к нему с постоянным потоком любопытных, жадных до всего нового и красивого советских людей. Так же вот однажды в морозный день появилась у него в студии молодая мать, ведя за руку шустрого мальчика. Иней покрывал ее меховую шапочку. Щеки пылали от мороза. Шею окутывал пушистый спортивный шарф. На бровях и ресницах сверкали растаявшие снежинки. Немного застенчивая в необыкновенной обстановке, она стояла среди нагромождений скульптур и, улыбаясь, смотрела, как ее мальчуган с любопытством оглядывал мастерскую, статуи, глядевшие на него изо всех углов, и с опаской на старика, похожего на гнома и в свою очередь наблюдавшего за ним и его матерью из-под очков. Нужно прямо сказать, в эту минуту женщина любовалась не скульптурами, а своим сыном. А мастер, залюбовавшись ею самой, постарался схватить, закрепить в дереве милое лицо молодой матери, полное нежности, заботы, с глазами, излучающими тепло и свет. Так родился еще один образ —«Молодая мать».

И, как бы суммируя свои первые наблюдения над новым поколением советской молодежи, что, жадно интересуясь искусством, наполняла веселым шумом неуютную, беспорядочно загроможденную мастерскую, скульптор создает еще одну, уже обобщенную работу, которую называет «Молодость».

Если сравнить то, что вышло из-под резца С. Эрьзи после его возвращения на Родину, с тем, что он создал за океаном, разница будет сразу ясна. Исчез мотив вечной тревоги, тоски, обреченности, свойственной его скульптурам, созданным за океаном. Улыбка, обычная человеческая улыбка впервые — да, впервые!— осветила и согрела его творе-

ния. Все эти воплощенные в скульптуре москвичи, которых он видел в своей мастерской, уверенно, без тревоги смотрят в завтрашний день. Это дети страны, где «человек проходит как хозяин необъятной Родины своей». Это люди социализма, не привыкшие к легкой жизни, не стремящиеся к ней, твердо встречающие любые невзгоды, прочно стоящие на своей земле, смело смотрящие в свое будущее.

Среди новых скульптур С. Эрьзи особенно значительной кажется мне одна из последних его работ —«Казашка». Этот простой проникновенный портрет женщины Казахстана — несомненная удача мастера. Создав эту скульптуру, когда ему уже перевалило за девятый десяток, он загорелся мечтой в типичных образах советских женщин разных национальностей воплотить образ народов пятнадцати братских республик нашей страны...

Незадолго до смерти скульптора мы с женой посетили его мастерскую. Он был уже болен, заметно ослабел, но ни за что не соглашался на уговоры друзей и родственников переехать отсюда в свою квартиру.

— Куда уж! Может быть, и работать-то осталось считанные дни. Не хочется от станка уходить напоследок.

Место, где он работал, он называл «станком».

Мы уселись на каких-то ящиках в огромном зале, где было неуютно, сыро, и в первый раз за наше знакомство Степан Дмитриевич разговорился. Голос его был тих, порою еле слышен. Но говорил он со страстью:

— Я вернулся домой не умирать и не отдыхать,— с обычной брюзгливой ноткой ворчал он.— Это мои недруги мечтают поскорее уложить меня самого в деревянный ящик, а я еще поработаю для своего народа. Думаете, напрасно волок через океан целый вагон дерева? Все распродал, роздал, а материал приволок... Рука держит резец — стало быть, живу, работаю. И буду работать, пока он не вывалится...

Это была самая длинная фраза, которую я услышал от С. Эрьзи за несколько лет знакомства. Произнеся ее, мастер отвернулся, на слабеньких ножках подошел к «станку». Вновь зажужжала фреза, потекли стружки, и из бесформенной древесной глыбы, похожей на застывшую волну, стало выступать неизвестное нам, но уже живущее в его поэти-

ческой фантазии изображение. Потом фреза смолкла. Он вернулся к нам. Сел. Ладонью отер сразу вспотевший лоб.

— Слабею вот, нездоровится. Врачи требуют: в больницу... Есть мне время — в больницу... Ишь ты!..

И вдруг заговорил о своих планах. Сюита — 15 Советских республик... Памятник Некрасову — поэту, которого он любил со школьной скамьи... Фонтан для одной из площадей родного города Саранска...

Ему никто не заказывал этого фонтана. Просто он прочел или услышал по радио, что в Саранске застраивается новая площадь, и решил сделать подарок столице родной Мордовии: дети, играющие у плещущейся воды... Разве плохо?

Мы слушали и поражались его замыслам, его вере в свою мечту. Тем временем сумерки уже вступали в мастерскую. Я хотел было включить электричество, но скульптор остановил:

— Не надо. Глаза болят. С глазами что-то — не выносят резкого света... Врачи требуют — надо исследовать, а у меня разве есть время на эти их исследования?.. Обойдусь без электричества.

Он зажег свечу. В слабеньком колеблющемся ее свете скульптуры будто ожили. Нельзя было отделаться от ощущения, что множество взглядов направлено на тебя из всех углов, что они следят за каждым твоим движением.

— Когда-то земляки обещали мне открыть музей в городе Алатыре... Где там... Кишка оказалась тонка... А Советская власть может, она все может... Мечтаю, давно мечтаю, вот когда-нибудь все это отвезут на родину: землякам, в мордву...

Произнес он это хрипловато, по-старинному выговорив — «в мордву».

И я сразу вспомнил, как у Степана Дмитриевича Нефедова возник псевдоним, под которым он стал теперь столь широко известен. Быть может, самой заветной мечтой этого уроженца поволжских лесов и было прославить своим искусством свой народ, свой в недавние времена еще глухой край...

Ну что же, мечта его сбылась.

«Жизнь заново» (после 1955 года)

Прошло десять лет после окончания второй мировой войны. Мир стабилизировался в своих новых, послевоенных очертаниях. Но неустойчивым, нестабильным оставалось существование многих людей, разметанных военной бурей по чужим странам. Среди них оказалось немало советских граждан. Многие из них бедствовали. Очень многие тяготились жизнью на чужбине, считая свое пребывание на Западе вынужденным и противоестественным. Немалое число этих «перемещенных лиц» возвращалось на Родину. Казалось бы, исходя из принципов гуманности, этот процесс можно только приветствовать. Но антисоветские круги на Западе заняли иную позицию. В апреле 1955 г. корреспондент «Нью-Йорк таймс» в сообщении из Мюнхена откровенно рассказал о том, что американских официальных лиц «тревожит» перспектива возвращения эмигрантов «в их коммунистическое отечество». Писал корреспондент и о том, что многие эмигранты живут в плохих условиях и имеют мало надежд на лучшее будущее. В СССР же, отмечал он, им обещают прощение, хорошую работу, образование детям.

Произошло именно то, чего не хотели допустить не названные корресподентом американские официальные лица,— тысячи эмигрантов вернулись на Родину. В какой-то мере повторилась ситуация 1921 года: руководствуясь ленинскими принципами гуманности, Советское государство сочло возможным применить амнистию к тем советским гражданам, которые во время войны по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами.

17 сентября 1955 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг». Статьи седьмая и восьмая Указа, в частности, гласили:

«Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от ответственности и тех ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие

должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной.

В соответствии с действующим законодательством рассматривать как смягчающее вину обстоятельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. тяжкие преступления против Советского государства. Установить, что в этих случаях наказание, назначенное судом, не должно превышать пяти лет ссылки.

...Поручить Совету Министров СССР принять меры к облегчению въезда в СССР советским гражданам, находящимся за границей, а также членам их семей, независимо от гражданства, и их трудоустройству в Советском Союзе».

Вот судьба одного из десятков тысяч тех людей, которые вернулись после этого Указа в СССР. В годы Великой Отечественной войны четырнадцатилетний подросток Юрий Слепухин вместе с сестрой и матерью был угнан с Украины на фашистскую каторгу в Германию. Сразу после войны он попал в лагерь перемещенных лиц. В это время ему было уже 19 лет, и он сам волен был принимать решение — возвращаться ли ему на Родину или оставаться на Западе. Слепухин остался. Скоро он стал ведущим журналистом антисоветских эмигрантских изданий; журналов «Посев» и «Вехи», газеты «Новое русское слово». Но постепенно Слепухин понял, «кто есть кто», и пересмотрел свои позиции.

В 1957 году он вернулся на Родину и уже через несколько лет стал популярным писателем. Особенный успех имели его романы «У черты заката», «Джоанна Аларика», «Южный крест». Герой последнего из них — русский человек, заброшенный превратностями войны на чужбину, история его возвращения в СССР. Надо ли говорить, что эта тема выстрадана автором...

Но было бы неверным сводить «возвращенцев» последних десятилетий только к тем, кто попал за пределы Советского Союза в результате второй мировой войны. С этими людьми смешались представители практически всех других слоев российского зарубежья. С просьбами о восстановлении или получении гражданства СССР в советские дипломатические представительства за рубежом, непосредственно в Верховный Совет СССР обращались и обращаются и бывшие белые, по каким-либо причинам ранее не решавшиеся на реэмиграцию, и эмигрантская молодежь, достигшая совершеннолетия, и другие лица. Получается такая пестрая картина, что затруднительно вывести какую-то типичную, наиболее характерную фигуру реэмигранта последних лет.

Читатель сам в этом убедится, прочитав заключительную главу книги. Но кем бы ни был реэмигрант — седовласым профессором лингвистики или молодым сапожником, известным художником или рядовым фермером,— все в один голос говорили, что, обретя Родину, они начали жизнь заново.

ДМИТРИЙ МЕЙСНЕР: «Советские люди горячо хотят мира»

Более сорока лет прожил за рубежом Дмитрий Мейснер. После окончания гражданской войны эмигрантская судьба привела выходца из дворянской семьи в Чехословакию. В 20—30-е гг. он принимал активное участие в деятельности ряда эмигрантских антисоветских организаций. Не сразу Дмитрий Мейснер осознал смысл перемен, свершившихся на его Родине после Октябрьской революции. На многое ему открыла глаза вторая мировая война. Нелегкий путь переоценки идеалов дореволюционной России привел его в послевоенные годы к убеждению, что путь, избранный его родным народом после 1917 года,— единственно правильный, соответствующий глубоким народным чаяниям.

Еще находясь за рубежом, Дмитрий Мейснер издал в Советском Союзе свои мемуары «Миражи и действительность» (Издательство агентства печати «Новости», 1966 г.). Мы предлагаем вниманию читателей главу из этих воспоминаний, где автор рассказывает о преодолении, благодаря знакомству с советской действительностью, его былой предубежденности.

В 1967 году Дмитрий Мейснер вернулся на Родину. Поселился в Москве. Его статьи стали часто появляться на страницах многих советских газет и журналов. Одну из его статей («Мое пятилетие»— газета «Голос Родины», 1972 год, № 29), как бы подводящую итог впечатлениям Дмитрия Мейснера от первых лет пребывания на родной земле, мы также предлагаем вниманию читателей.

Люди и правда о них

Первое и основное, что интересовало меня, когда я думал о поездке на родину, были не высотные здания, не новые широкие проспекты, равные которым трудно увидеть в других европейских городах, не корпуса бесчисленных вновь отстроенных фабрик и заводов, не картинные галереи и не прекрасные музеи и даже не дорогие моему сердцу

уголки, связанные с именем Пушкина, Толстого, Чехова,— а в первую очередь современные советские люди.

На них, именно на них во все глаза смотрел я во время своих поездок на родину, во время пребывания моего в Москве. По этим людям, как и во всех городах мира спешащим по своим делам, на работу, с работы домой, в гости, в театр, на свидание с любимым человеком, я старался определить черты, которые этих людей, эту шумную городскую толпу многомиллионной Москвы, Ленинграда и Киева делают специфически современной — советской, делают той средой, которая типична сейчас для городов родины.

Если обратиться к первым впечатлениям от этих новых для меня людей, то я бы сказал, что самое правильное слово, если характеристика должна быть краткой,— это народность. На улицах советских столиц я видел по преимуществу тех людей, чьи деды, а то и отцы не знали тротуаров города, не ходили по министерствам и учреждениям, не посещали театров, дипломатических и иных приемов. В этом и есть одно из революционных достижений той культурной революции, которая должна стоять на заглавном листе списка огромных успехов Октября.

Да, я видел, что ходят по Киеву люди, чьи корни далеко за пределами города: в бескрайних украинских степях, заросших вишневыми садочками селах и поселках с чистенькими домиками под шиферными крышами. Воспетые когда-то белые хаты-мазанки под соломенной «стрехой», в которых мы ночевали в гражданскую войну, почти уже не встречаются.

Именно эти люди, очень далеко ушедшие вперед от старшего поколения, определяют в основном характер современного Киева; их северные братья, пришедшие с широких русских полей, из вековых лесов, дети крестьян России — облик нынешнего Ленинграда и Москвы.

...Мой поезд, в котором я спешу из Киева в Москву для первой с ней встречи после долгой разлуки, еще только пробегает брянские леса, но я, забегая вперед, скажу сейчас несколько слов о советской столице.

Мне пришлось прожить два зимних сезона в Москве, в самом людном районе города. Перед моими глазами прошли многие тысячи москвичей, которые спешили по утрам на работу.

Столица, как и весь Советский Союз, не знает безработицы. Это явление огромного значения. Оно определяет психику людей, уверенных в своем завтрашнем дне, делает устойчивым их материальный уровень. В зимние месяцы я не видел в Москве ни одного человека, которому приходилось бы в морозы туго. Все эти люди одеты тепло и очень добротно. И я, хорошо знающий многие закоулки западных городов, спрашивал себя, могут ли руководители западного мира заявить, что в непогоду в их городах никто не вынужден зябнуть из-за отсутствия теплой одежды. Я хорошо помню, как в довоенной Праге в годы безработицы люди, в том числе мои знакомые эмигранты, несли старьевщикам свое, иногда последнее платье.

Я присматривался к тысячам и тысячам лиц на улицах Москвы и не видел никого, на ком лежала бы печать недоедания и физического истощения. Могут ли западные лидеры сказать, что в их странах люди всегда накормлены досыта?

Не раз я беседовал с рабочими и колхозниками, родители которых были малограмотными людьми. Эти рабочие и колхозники закончили среднюю школу или семилетку, прошли подготовку на курсах. Они покупают и собирают книги, немало читают. Они в курсе мировых событий, живо и заинтересованно о них говорят и спорят. Они в самом деле хотят разобраться и разбираются в сложном клубке современных международных отношений, в проблемах развития их страны. А ведь это только второе послереволюционное поколение: дети и внуки тех, кто, может быть, не держал в руках и букваря.

Трудно утверждать, что такой скачок в области культуры известен в какой-либо иной стране.

Я видел также советскую молодежь; мы вели горячие споры о литературе, театре и живописи. Молодые люди живо интересуются достижениями мировой культуры. Они тщательно, я бы сказал, ревниво за ними следят; стремятся глубоко и всерьез ознакомиться со всеми явлениями этой культуры, разобраться в них, дать им оценку.

Можно ли утверждать, что такая глубокая и неутомимая любознательность характерна сейчас и для западной молодежи.

Я слышал в Москве критику недостатков и неполадок в различных областях жизни. Критику, свободно и громко высказываемую. Критикуются частности при внутренней верности общему. Я не видел при этом страха и не слышал опасений.

Всякие утверждения подобного порядка были бы просто неправдой. Почему же эта неправда до сих пор еще появляется на страницах американской и не только американской прессы? Неужели это способствует взаимному пониманию и укреплению всеобщего мира, к которому стремятся люди?

В Москве, как и в других советских городах, мне пришлось говорить со многими советскими людьми на тему о войне и мире. Все они, об этом и не может быть двух мнений, горячо хотят мира; сохранение мира — заветное их желание. Никто в СССР не забыл войны. Никто здесь не хочет обострения напряженности.

У руля управления государством, а также в руководстве промышленными предприятиями страны, учреждениями, колхозами или совхозами стоят люди, которые сами с оружием в руках боролись с врагом. Эти люди знают, во что обходится народу современная война, и делают все возможное для ее предотвращения. И в то же время каждый, кто побывал в Советском Союзе, не может не отдавать себе отчета в том, что, если бы война все-таки разразилась, Советская страна встала бы на борьбу сплоченной, единой, готовой к смертному бою. Велик патриотизм советских людей, патриотизм не культивированный, а подлинный, живой и действенный. Велика также свойственная этим людям уверенность в себе. Это как раз те не надуманные, а реальные факторы, которые никак не должны забывать на Западе. В частности, не должны забывать те люди, которые сознательно или нет, но играют иной раз с огнем.

Я продолжу еще немного мои рассуждения. Некоторые круги западного мира полагают, а другие твердо убеждены, что советские люди не считают государственную власть современной России своей народной властью, что эта власть им чужда. Они утверждают, что основа, на которую она опирается,— принуждение. Некоторым при этом кажется, что достаточно более или менее сильного толчка

со стороны, чтобы новый «колосс на глиняных ногах» рухнул, как около пятидесяти лет назад рухнул старый. Нет представления более ошибочного, чем это. В самом деле, нравится это кому-либо или не нравится, приятно это или, наоборот, неприятно, но Советская власть для советских людей есть прежде всего своя, народная власть.

А между тем из ошибочного представления об «антинародности» власти делаются далеко идущие политические выводы. В свое время этим глубоко ошибочным представлением руководствовались нацисты. Гитлер и его штаб предполагали, как известно, что советские люди не будут, или далеко не все будут, считать нацистов врагами, ибо они ведут войну с «советской властью». Вот это-то глубоко ложное представление, начисто опрокинутое прежде всего недавней мировой войной и многими другими явлениями, необходимо постоянно и неустанно опровергать. Это необходимо не для пустой полемики или злословия, но для того, чтобы иные заблуждения не приводили к губительным ошибкам большего или меньшего масштаба.

Тем важнее понять не только фактическую неправильность утверждений о разрыве между властью и народом, но и опасность таких утверждений, ведущих к глубоко неправильной оценке Советской страны.

Мне, как и многим, посещающим Советский Союз на продолжительный срок, пришлось встретиться здесь с одним явлением, весьма характерным для сегодняшней жизни.

Я имею в виду совершенно новое отношение советских людей к труду, к выполнению ими своих обязанностей, будь то на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве, в государственных учреждениях или в общественных организациях. На мой взгляд, совершенно правы те, кто утверждает, что для большинства современных советских людей труд уже в большой мере стал своим кровным делом.

У советских людей выросло и окрепло, стало привычным ощущение и сознание того, что их участие в труде — частица общего трудового напряжения страны. Я это прямо наблюдал, а также слышал от ряда людей, слышал не в какой-то декларативной форме — это бы многого не стои-

ло,— а в разговорах по душам о жизни человека, о его работе за долгие годы.

В одну из моих поездок на родину мне довелось услышать подобную исповедь шахтера Кузнецкого бассейна. Это коренной сибиряк, человек уже немолодой, проживший нелегкую жизнь. Когда он говорил о своей удовлетворенности, о материальном благополучии его семьи, о своем оптимистическом восприятии всего окружающего, я хорошо понял, что в основе этого лежит его удовлетворенность своим трудом, делающим его активным участником общего дела.

Вспомнился мне и другой интересный человек, с которым мы проговорили многие и многие часы... Это сорокалетний ученый-ботаник, спешащий уже не в первый раз из Киева в карпатские леса. Он влюблен во флору этих гор и пишет о ней научный труд. Он долго и интересно рассказывал о работе украинских ученых и об огромных возможностях, предоставленных им для научных изысканий. Киевлянин много также знает об успехах своих пражских коллег. Он читает на разных языках специальную литературу. Своей увлеченностью и вместе с тем широкими интересами, выходящими очень далеко за пределы карпатской природы, он лишний раз подтверждает, что советские интеллигенты живут полной и содержательной жизнью!

В Москве, на Ленинском проспекте, в квартире, где я часто бывал, мне довелось подружиться с моей сверстницей, колхозницей Орловской области Анастасией Георгиевной, приехавшей в столицу к сыну понянчить внучку. Женщина она умная, с твердой и спокойной душою русского сельского жителя. Училась она мало, с науками не знакома и сама любит это подчеркивать. А жизнь малознакомого ей города и родной деревни понимает хорошо и умеет, что называется, брать быка за рога, смотреть прямо в корень. Я многому у нее научился и многое понял, сравнивая старую женщину с теми деревенскими бабками, которых я знал в дни моей юности...

Что же еще привлекает взор человека, давно не бывавшего на родной русской земле? Конечно, равенство отношений между современными русскими людьми.

Люди, выполняющие разную работу — академики и

рабочие, писатели и доярки, маршалы и солдаты,— в личном общении дистанции не держат. Конечно, сейчас не времена моей юности, порядок отношений, о котором я говорю, можно наблюдать и в других странах с сильной демократической традицией, но нигде люди разного труда, разных служебных обязанностей не стоят в чем-то основном так близко друг к другу, как именно в СССР.

Особенно это видно, в частности, в отношениях между солдатами и офицерами. Известно, что в старой России разрыв в армии был очень велик; в странах Запада он и поныне не изжит. В советской же стране на каждом шагу можно видеть дружескую беседу людей разного социального круга. Я наблюдал в вестибюле большой гостиницы дежурного швейцара в оживленной беседе или даже споре с морским офицером. Вот такого разговора раньше в России услышать было нельзя. Глубокий бытовой демократизм свидетельствует о том, что сейчас в России кануло в Лету самое понятие избранных и массы, «господ» и «простого народа». Такого нет ни в какой другой стране, которую мне пришлось в жизни узнать.

Сказанным я вовсе не хочу утверждать, что все советские люди живут в равных условиях. Директор предприятия получает в несколько раз больше, чем уборщица, но когда они вступают в беседу, выходящую за пределы их служебных отношений, они говорят на равных началах и легко находят общий язык.

Кстати, в Советском Союзе требования, предъявляемые к жизни людьми массовых, неквалифицированных профессий, неизмеримо возросли по сравнению с прошлым. Я, конечно, знал это, но был все же немало удивлен, когда лифтерша, с которой я подружился, мне призналась: «Знаете, дочка и внучка вернулись из Крыма, и эта поездка выбила нас из колеи...» Вспоминая прошлое, я должен сказать, что не только дети лифтерши, но и члены семьи полковника царской армии или помещика средней руки не всегда могли отправиться в Крым на летний отдых. Для этого нужно было находиться на иных, более высоких этажах социальной лестницы.

Равенство отношений, о котором я говорю, создало в стране атмосферу демократизма, отрицать которую никак нельзя.

Вот еще одна встреча. В Праге живет молодая женщина, моя коллега по переводческой работе. Это москвичка, совсем юной она вышла после войны замуж за чеха. В Москве я побывал у ее родителей. Мать в прошлом — ткачиха, теперь пенсионерка, отец — токарь, сейчас тоже на отдыхе. Я знаю, что мать только к 30 годам овладела грамотой. Но меня предупредили, что она «вас многим удивит». В самом деле, открывшая мне дверь старушка оказалась не только приветливой, внимательной и гостеприимной хозяйкой, но и человеком, с которым можно вести интересный и содержательный разговор на очень многие темы. Она в курсе не только последних политических новостей, но и явлений культуры.

Словом, как говорили в старину, ума палата. Но, скажут мне, что же тут нового? Как будто среди русских женщин не было и раньше больших умниц? Конечно, это так, но дело в том, что большой и любознательный ум моей собеседницы уже не бился в замкнутом кругу фатально ограниченных представлений, на что он был бы обречен в старой России, а в течение долгих десятилетий находил себе постоянную обильную пищу, развивался и крепнул.

Да и как могло быть иначе? Культурная революция, давно ставшая фактом, неуклонно делает свое огромное дело. Достаточно услышать перечень устраиваемых в отдельных республиках страны всевозможных художественных, литературных, научных начинаний, всевозможных проявлений самодеятельности, охватывающих сверху донизу многие миллионы людей! Достаточно развернуть любой номер газеты, чтобы прочесть об этом отчеты. Пусть не всегда эти выступления проходят на самом высоком художественном уровне. Пусть поэты, читающие свои стихи,— иногда люди, далекие от литературной профессии. Дело сейчас совсем не в этом. А в том, что на литературные собрания, в концертные залы собираются тысячи людей, причем людей отнюдь не безразличных, а требовательных к тому, что они услышат.

И наконец, о Ленинграде. Подходя к последним страницам моих воспоминаний, не могу не сказать о встрече с родным городом.

Сначала два отзыва о нем. Два года назад я вернулся в

гостиницу «Европейская» с набережной у Зимнего дворца, как всегда совершенно захваченный и потрясенный, и вдруг услышал взволнованный рассказ сотрудницы «Интуриста», только что сопровождавшей группу английских архитекторов. Они, пройдя Дворцовую площадь и выйдя на набережную Невы, обогнули слева Зимний дворец и увидели залитую солнцем Неву, по которой шел ранний весенний лед, Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, прекрасную панораму города. И что же? Один из гостей вдруг прикрыл рукой глаза и с глубоким волнением сказал: «Простите мне мою сентиментальность, но я не знал, что руки человека способны создать такое величие, а я кое-что видел на своем веку в самых разных уголках мира»...

А совсем недавно я сам стоял на том же месте этой неповторимой набережной в солнечный день ранней осени, и, вероятно, на моем лице была написана любовь к городу на Неве, преклонение перед ним, так как ко мне вдруг быстро подошел крепкий молодой человек спортивного типа и взволнованно сказал: «Какой необыкновенный, прекрасный город!». Говорил он по-русски плохо и оказался сербом, архитектором.

— Я,— сказал он,— только что встретился с моими советскими коллегами. Они мне говорили о предполагаемой реконструкции некоторых районов Ленинграда, но как же к этому великому городу подступиться?!— воскликнул серб.— И знаете, что я сказал моим собеседникам? Если вы начнете чертить проекты перестройки Ленинграда, я надеюсь, ваше начальство вовремя отрубит вам руки!..— К счастью, ленинградские архитекторы хорошо знают красоту своего города и меньше всего хотят посягать на нее.

Когда я беседую с коренными ленинградцами, они очень часто обращаются своими мыслями к пережитому во время блокады. Рассказывают о бесчисленных жертвах, о жутких испытаниях и жестоких страданиях, об изумительном присутствии духа и героизме тысяч и тысяч людей. Многие мои близкие, в том числе старшая сестра, погибли тогда.

На далекую окраину города, на Пискаревское кладбище, нужно ехать одному. Там среди иных надписей начертаны замечательные слова: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ

ЗАБЫТО». Это кладбище — последний приют нескольких сотен тысяч человек — жертв блокады.

Оно всегда стоит передо мной таким, каким я видел его в одно из моих посещений.

...Холодный зимний день. Сильный ветер с моря. Сосны в снегу. Тихо и мертво вокруг. Сумрачный северный пейзаж! Сюда прибывают автобусы с советскими и иностранными посетителями; читая надписи, имена, цифры, люди уходят глубоко потрясенные, многие, очень многие в слезах...

У самого «окна в Европу», у ленинградского порта, встретился я и с моими пражскими знакомыми. Это бывший актер МХАТа В. И. Васильев и его жена — журналистка и актриса Г. С. Гульяницкая. Они уже несколько лет в Ленинграде, включились в театральную жизнь города и очень довольны своей судьбой. В ленинградской гостинице меня навестила старшая дочь московского профессора П. И. Новгородцева, вернувшаяся с мужем в первые годы после войны. С ней был ее брат — инженер, уже много лет ленинградский житель. Все это — люди хорошо устроенные и сумевшие по-настоящему войти в советскую жизнь. А дети их полностью принадлежат к советской молодежи.

Вспоминаю, как И. П. Новгородцева горячо мне сказала: «Я так счастлива, что уже давно я тут и что дочь моя совсем позабыла о своем эмигрантском прошлом». В Ленинграде живут и другие пражские эмигранты. Некоторые из них, как, например, муж Новгородцевой Г. А. Зальф, выдвинулись на научном поприще или в производственной работе.

Ленинград, разумеется, не единственный город, принявший бывших эмигрантов. Еще больше их в Москве. Среди этих новых москвичей — Л. Д. Любимов, автор интересной книги «На чужбине», посвященной приблизительно той же теме, что и эти отрывки моих воспоминаний. Он много и успешно пишет о живописи и архитектуре.

Недавно в одном из московских учреждений я встретил плотного, очень старого человека с гривой седых волос. Это бывший видный эсер В. В. Сухомлин, сотрудник большой французской прессы, полностью ставший впоследствии на советскую платформу. Недавно Сухомлин скон-

чался. А на улице Горького я часто вижу моего друга — противника первых лет эмиграции А. С. Сизова. Он тоже когда-то в юности был близок к эсерам, но уже давно порвал с эмиграцией.

Перед моим последним отъездом в Москву мне посчастливилось в Праге провести интересные часы в обществе жены сына писателя Е. Н. Чирикова. Семья эта с одной из групп русских эмигрантов направилась в Ташкент, где и обосновалась. И вот по прошествии более десяти лет М. В. Чирикова приехала снова в Прагу в гости к своей сестре, рассказав о многих общих знакомых и друзьях, живущих сейчас в Узбекистане. Здесь, как и в Ленинграде, молодежь уже стала совсем советской. И старшее поколение радо своему возвращению на родину. Беседуя с этой старой моей знакомой, я невольно снова вспоминал отправку эмигрантских транспортов на родину и весь тот комплекс горячих сложных чувств, которыми были охвачены и отъезжавшие, и провожавшие.

Эти встречи с бывшими эмигрантами еще раз показали мне, что люди, изжившие прежний строй представлений, легко включаются в новую жизнь их родины.

Впрочем, все они в большей или меньшей степени приобщились к новой жизни, еще живя в народно-демократической Чехословакии. А там, как я рассказывал, у русских сложились уже новые представления, во многом далекие от традиционно эмигрантских. Не случайно мой приятель Г. Ф. Флорианский, как и я, старый политический эмигрант в прошлом, а теперь советский гражданин, живущий в Праге, вернувшись недавно из двухмесячной поездки в Париж, говорил мне:

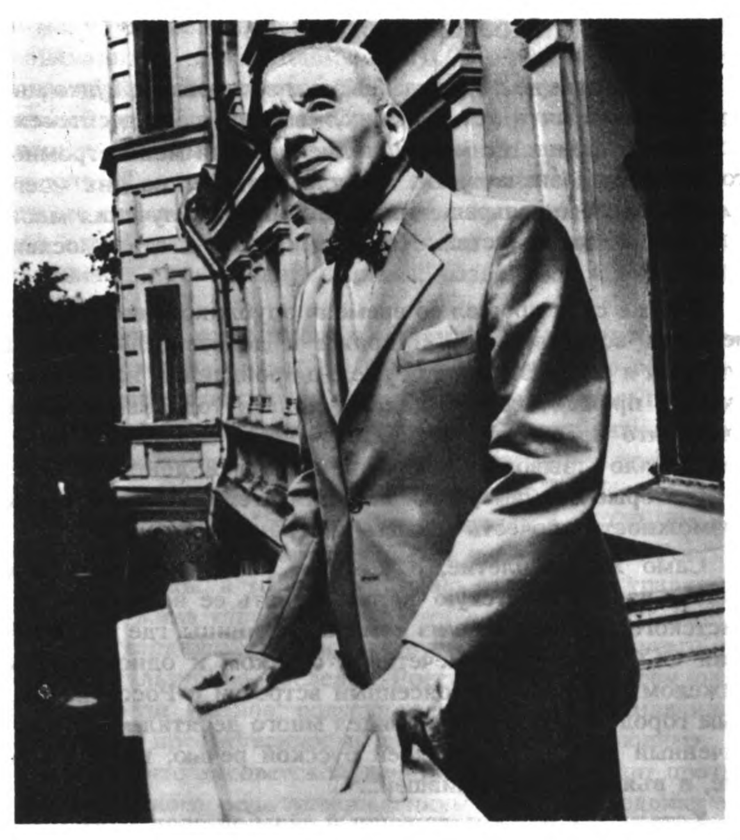
— Вы знаете, наши парижские друзья усмотрели у меня совсем новый строй мыслей. Они мне прямо заявляли: «Дорогой, да вы, кажется, стали настоящим марксистом!»

И в самом деле, по ряду серьезных вопросов пражский гость уже не мог договориться со многими старыми парижскими друзьями.

Я хотел бы добавить, чтобы избежать недоразумений и недоговоренности: всем мною сказанным об умирании старой эмигрантской идеологии и о принятии новой жизни родины, о новом понимании Октябрьской революции я не

хочу и не могу по совести сказать, что абсолютно все в современной России выглядит так, как мне того хотелось бы.

Но что же из этого следует? Если повзрослевший или успевший постареть сын видит, что его мать не совсем такая, какой он себе ее представлял или какой хотел бы видеть, разве она от этого ему дальше? Или он менее готов служить ей? Или он упрямо не захочет понять ее жизненный путь?



Доктор экономических наук Валерий Иванович Терещенко вернулся в СССР из США. Он живет в Киеве, но часто бывает в других городах, выступает с лекциями, с воспоминаниями о людях, с которыми его сводила эмигрантская судьба.

Велика разница между окружающей действительностью начала моей жизни и современностью. Это не мешает и не должно мешать видеть в полном объеме правду нынешней жизни и радоваться ей. Видеть широкий и глубоко перспективный путь, на который вступила родина и советские люди. Видеть огромные успехи отечества, успехи его науки и техники, вознесшие человека в космос, успехи социального строя, открывшего двери в будущее.

Мое пятилетие

Нет! Я вовсе не хочу сказать этим заголовком, будто мне всего только пять лет. Мне их, увы, на шестьдесят семь больше. А пятилетие мое, исполненное для меня огромного значения, означает, что прошло пять лет со дня моего окончательного возвращения на Родину и получения мною советского гражданства. Пять лет назад я стал москвичом.

Тот же срок прошел со времени опубликования в Москве моих воспоминаний «Миражи и действительность», в которых я рассказывал, как умел, о пройденном жизненном пути, и прежде всего о долгих, долгих годах эмиграции. Знаю, что небольшую эту книгу многие прочли. Я получил немало отзывов от советских читателей; дошли до меня и некоторые отзывы зарубежных читателей, имел я также возможность прочесть отзывы эмигрантской печати.

Само же пятилетие, о котором речь, позволило мне близко узнать советскую жизнь. Узнать ее не из окна туристского автобуса и не из номера гостиницы, где навестивший СССР эмигрант мечется в сладком и одновременно тяжелом смятении, потрясенный встречей с Россией, родным городом (которого не видел много десятилетий), захваченный до слез волнующей русской речью, вдруг не во сне, а въяве его окружившей...

Кстати, все это в положенный судьбой срок тоже было мною испытано и пережито. Сейчас же о том пятилетии, когда сказка возвращения на Родину уже пережита и каждодневная жизнь давно и прочно заняла свое место.

Еще оговорка, все еще на личную тему. Родина приняла меня совсем милостиво: на мою долю не выпало тех, иной раз нелегких жизненных трудностей, которыми часто богата во все времена и столетия жизнь людей, возвращающихся в отчий дом после долгих десятилетий политического изгнания, политической эмиграции.

Я приехал в Советский Союз из Чехословакии, будучи чехословацким пенсионером, и, согласно международному соглашению о перемещении пенсионеров, получаю соответственно пересчитанную пенсию, обеспечивающую жизнь. У меня уютная кооперативная квартира, расположенная у знаменитого села Коломенского. С одной стороны шатровая церковь Вознесения (1532 год) и весь ансамбль музея, бывшей усадьбы царей московских, с другой — обширная площадь с четырьмя входами в метро, поезда которого в течение 18 минут доставляют к Большому и Малому театрам, то есть в самый центр Москвы. Наконец, похвастаюсь еще одной улыбкой фортуны: рядом со мною мой друг, моя жена — советская женщина, разделившая годы моей старости.

А теперь — от частного к общему! Я сказал, что близко узнал советскую жизнь. Но говорить сейчас обо всем, что узнал,— значит не сказать ничего. Мне бы хотелось поэтому остановиться пока только на том, о чем настойчиво твердили мне некоторые мои зарубежные приятели, знавшие о моем горячем стремлении вернуться домой.

Мне говорили: «Смотрите, вернувшись в СССР, вы испытаете горькое разочарование. Там, в современной России, начисто забыты, а то и сознательно отвергнуты традиции, которыми жила страна».

Мне твердили: «Вы почувствуете себя обиженным за великое культурное наследие России. Ощутите себя одиночкой среди Иванов, родства не помнящих. Самая идея культурной преемственности далека советским людям».

Все то, что в советской действительности явно противоречило такого рода утверждениям, мои собеседники из «непримиримых»— будь то русские эмигранты или иностранцы — называли обманом или вынужденной тактикой. Наводят, мол, большевики тень на ясный день.

Все эти утверждения, если говорить попросту, чистейший

вздор, прошу прощения за резкое слово, и вздор вредный.

Слов нет! Каждая великая революция, а такая именно и была у нас, разрушая, притом часто дотла, старый социальный порядок, уносит в небытие в бурных своих водах навыки, привычки и традиции, связанные именно с поверженным социальным и политическим строем. И чем характернее, типичнее, специфичнее эти навыки, традиции и привычки, чем теснее их связь с уходящим в прошлое порядком, тем безвозвратнее они гибнут.

У нас на Родине в первую очередь ушли в небытие разные, с позволения сказать, традиции, рожденные остатками догнивающего полуфеодального, дворянско-помещичьего строя.

В самом деле, вплоть до 1917 года дворянская молодежь, обучавшаяся в так называемых привилегированных учебных заведениях, гражданских — лицее, училище правоведения, а также военных — пажеском корпусе, кавалерийских училищах и т. д., не смела смешиваться с плебейской толпой. Такие молодые люди не смели ездить в трамваях, в третьем и даже втором классах железнодорожных вагонов; они не смели сидеть в верхних ярусах театров, не говоря уже о галерке, и т. д.

С этими благоглупостями было покончено в первые же дни победившей революции, и вряд ли живет еще кто-либо, тоскующий по этому поводу.

Покончено также в короткий срок со всеми бытовыми навыками, привычками и традициями, выросшими на почве власти и самовластия денег.

Но кто же в наши дни грустит по поводу того, что с уходом из реальной жизни «его степенства» той или иной гильдии отпала «традиция», выросшая из жестокой необходимости, ломать перед ним шапку, как то принуждены были делать окружающие его подчиненные, служащие, рабочие. При этом, однако, имена представителей торгово-промышленного класса, ставших много выше своей среды и активно послуживших русской культуре, и в наше время в Советском Союзе упоминаются с признанием и признательностью.

Но могут мне сказать: ведь не об архаичных навыках и,

с позволения сказать, «традициях» шла речь, когда некоторые эмигранты, а равно и некоторые иностранцы говорили вам об Иванах, родства не помнящих; они думали о разрыве культурной преемственности в современной России.

Хорошо! Присмотримся ближе к судьбе культурного наследия прошлого и его положению в Советском Союзе.

Обратимся хотя бы к художественной литературе и к театру. Что же, путь к прошлому тут в какой-то мере затерян? Стало это прошлое отжившим или отживающим? Советские люди, в частности советская молодежь, потеряли вкус к великим именам XIX века?

Не надо большого глубокомыслия, чтобы ответить на этот вопрос. Уже судьба отдельных, особенно славных имен в Советском Союзе дает ответ, полагаю, очень убедительный, если вдуматься, исчерпывающий.

Посмотрите сами!

В истории нашего прошлого не было времени, когда бы слово «Пушкин» стояло так высоко, как сейчас. Вот уж в самом деле, «народная тропа» к нему не только не заросла, а стала путеводной для миллионов сердец и душ. Я уже не говорю о дне рождения и смерти великого поэта, когда к его могиле и последней квартире на Мойке собираются тысячи и десятки тысяч людей — это, кажется, достаточно широко известно. Но присмотритесь повнимательнее к московскому расписанию радио- и телепередач за любую неделю года. Легко установить, что не проходит почти ни одного дня, чтобы не звучали пушкинские строки. Послушайте, кого хотят услышать из уст наших первых актеров и певцов люди из всевозможных уголков страны: это все тот же Пушкин. Часто это строки, очень многим известные на память. Хотят еще и еще раз испытать радость от их звучания. А письма детей с просьбой о той или иной передаче! И они твердят — Пушкина, Пушкина, Пушкина... Когда-то, узнав о смерти А. С. Пушкина, другой большой, очень большой поэт в своем стихе сказал, что его, «как первую любовь, России сердце не забудет». Сегодняшняя советская действительность говорит о том, что «солнце русской поэзии» (смелые по тому времени слова, извещавшие о смерти поэта) занимает в сердцах современных советских людей большее место, чем то, которое отводил

поэту Тютчев. Первая любовь — всего только первая, о ней с волнением и нежностью вспоминают. Под живительным же солнцем пушкинской поэзии сейчас зреют, мужают и действуют миллионы людей.

Но пойдем дальше! Заглянем на театральные афиши. «Ревизор», «Мертвые души», «Женитьба», другие гоголевские произведения изо дня в день на сценах татров, экранах телевизоров, в радиопередачах. Классик-реалист, горький сатирик, нежный лирик — Н. В. Гоголь и сейчас живет. А если его «Переписка с друзьями» и канула в Лету, то разве это незаконно? Если издерганный, душевно полубольной, стоящий уже у края могилы писатель взял на себя миссию защиты того, с чем сам же он в могучих своих творениях сурово боролся, то не лучше ли, в самом деле, забыть об этом литературном эпизоде, оставив его анализ кругу призванных к тому специалистов.

Я вспомнил «Переписку» не случайно: сейчас в Советском Союзе уже и массовый читатель умеет отличать плевелы от драгоценных зерен. Он отличает великие творения яснополянского кудесника от его философии и жизнеучительства. «Толстовства» я тут не встречал, а «Войну и мир» или «Анну Каренину» встретишь в каждой семье. И то и другое может только радовать.

Толстого любят крепко: загляните в Ясную Поляну в любой день: туда всегда паломничество. В летнюю и осеннюю пору, в весеннюю распутицу и зимнюю стужу в доме Толстого в Ясной Поляне и у его могилы люди со всех концов страны. Не забыт и дом великого писателя в Москве. Что еще важно и отрадно: туда, к Толстому, едут бесчисленные экскурсии от школ всех ступеней, заводов и фабрик, колхозов и совхозов, а также всевозможных учреждений. Кто же, в самом деле, откажется от такой захватывающей поездки? Ее с нетерпением ждут, за место в автобусе спорят.

Но могут сказать нам, ведь это усадьба Толстого, гениального писателя, давно признанного всем миром, стоящего на самой вершине литературного олимпа: в Ясную Поляну с волнением едут не только советские граждане, туда стремятся и туристы-иностранцы. Все хотят своими глазами увидеть места, где жил и творил великий писатель, и склонить голову у его могилы. Посещение советскими людь-

ми пушкинского заповедника и толстовского гнезда, подумает скептик, еще не бесспорное доказательство того, что культурное наследие России, в частности в области художественной литературы, совсем живо в сердцах современных советских людей.

Пригласим маловеров в другой уголок, на этот раз в Подмосковье. Среди прелестного парка, давно заросшего и ставшего тем еще краше, над маленькой скромной речушкой высится на бугорке помещичий дом. Аккуратный, чистенький, с балконом и верандой, он встает перед глазами. Что это — видение, галлюцинация?

Нет, это действительно помещичий дом средней руки, может быть, немного повыше. Но это не тот дом, «где деревенский старожил лет сорок с ключницей бранился, в окно глядел да мух давил» (Пушкин), а такой, в котором жили, собирались, а иногда толпились творческие люди с очень большими именами.

Недаром в первые же месяцы Октября сам В. И. Ленин позаботился о сохранности этого дома и всего его окружения.

В доме этом И. С. Тургенев вел долгие споры с сыновьями хозяина усадьбы С. Т. Аксакова о судьбах «славянофильства» и «западничества». Из этого дома выходил когда-то на заре всеобщий здесь любимец Н. В. Гоголь с задачей «рассадить вдоль дорожки грибы, только что собранные им в лесу, чтобы дать возможность их «найти» автору книг «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», начинающему терять зрение и лишенному возможности углубиться в лес. Впрочем, легковерным, говорит предание, при этом оказывается не Аксаков, а Гоголь.

Я думаю сейчас об Абрамцеве, перешедшем затем в руки Мамонтова, при котором дом принял в свои стены как постоянных дорогих гостей художников В. М. Васнецова, И. Е. Репина, В. Д. Поленова, В. А. Серова, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова, а также многих артистов, в их числе Ф. И. Шаляпина и И. Н. Федотову.

В наши же дни вокруг абрамцевской усадьбы тесными рядами стоят автобусы и автомобили. Опять и опять столько посетителей, что пробраться в дом-музей очень трудно: долго надо ждать очереди. А ведь тут не столько блеск од-

ного имени, сколько страницы, правда яркие и впечатляющие, русской культуры прошлого.

Если же набраться сил и преодолеть несколько километров, то мы окажемся в соседнем Муранове (усадьба поэта Баратынского, музей Ф. И. Тютчева). И там вереницы посетителей, встречаемых директором музея К. Пигаревым, написавшим замечательное исследование о Тютчеве — «Жизнь и творчество Тютчева». Советские граждане из далеких мест усиленно посещают Спасское-Лутовиново (Тургенев), Тарханы (Лермонтов), не говоря уже о доме А. П. Чехова в Ялте.

И дальше все о том же! Этой зимой в Москве с любовью и, я бы сказал, торжественностью были отмечены юбилейные даты некоторых столпов нашего литературного прошлого. Прежде всего вспоминаю о многолюдном собрании в Большом театре, посвященном Ф. М. Достоевскому. На этом собрании была отдана дань гениальному автору великих творений и страстному врагу нарастающего всесилия денег, защитнику всех униженных и оскорбленных...

Кстати, экранизирован Достоевский, в частности роман «Братья Карамазовы», очень удачно и с полным отображением всех сторон этого великого произведения.

Обращаясь к советскому театру, прежде всего необходимо подчеркнуть, что авторы-драматурги XIX века не могли бы огорчаться. Памятник Островскому недаром стоит у входа в Малый театр; осуществлена новая постановка «Свадьбы Кречинского» Сухово-Кобылина. Чехов и Горький не сходят со сцены почти всех театров. Имена Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова — предмет частых бесед и споров, советские люди помнят и знают также больших режиссеров и актеров более далекого прошлого.

Сейчас же напомню, что советский театр отдает также дань общественно-политическому прошлому и его традициям. Театром «Современник» были поставлены три пьесы современных авторов —«Декабристы», «Народовольцы» и «Большевики». Скажу о первой из этих пьес подробнее. В ней отчетливо и исторически верно показаны политические идеалы и личные свойства вождей декабристов. Актеры тоже сумели ярко и отчетливо показать и С. П. Тру-



Девятнадцатилетним юношей вернулся в СССР из Китая в 1956 году М. Гаврилкин. Сейчас его имя хорошо известно всем любителям оперного пения. Заслуженный артист РСФСР М. Гаврилкин является одним из ведущих солистов Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Фото Д. Ухтомского.

бецкого, и К. Ф. Рылеева, и П. Н. Пестеля, а также других представителей Северного и Южного обществ. Очень историчен и главный враг освободительных идей — Николай I. То же следует сказать и о пьесе «Народовольцы»: здесь поступательная революционность А. И. Желябова, С. А. Перовской, А. Д. Михайлова, хотя и направленная на ошибочный путь индивидуального террора, показана ярко и интересно.

Хотелось бы, чтобы было наконец покончено с распространяемой на Западе нелепой легендой о якобы пренебрежительном отношении в Советском Союзе к традициям прошлого. Традиции прогрессивные, жизнеутверждающие, традиции, пробуждающие в людях «чувства добрые» во всех их вариациях и аспектах — в частности, в художественной литературе и театре,— живы в современной России, они не только живы, но находят постоянную поддержку и отклик.

Традиции же, навыки и привычки, представляющие худшие стороны прошлого, отброшены, а с остатками их ведется бескомпромиссная борьба. Об этом жалеть не приходится. Не правда ли?

И наконец, еще одно: советские люди, как и люди всего мира, живут прежде всего настоящим, его духовными достижениями в том числе. Так, любя и зная культуру прошлого, в СССР создают, углубляют и развивают свою новую, советскую социалистическую культуру. Сделано за половину столетия очень много. Выросли, возмужали, но уже и ушли из жизни очень большие представители этой новой культуры, в частности писатели, актеры, но это уже иная тема. Наша была о связи времен.

ВИТАУТАС АЛЬСЕЙКА: «Я сожалею о тридцати годах эмиграции»

26 ноября 1972 года в «Правде» было опубликовано сообщение о пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Литовской ССР, на которую были приглашены сотрудники республиканской печати, радио и телевидения. Перед собравшимися выступил журналист Витаутас Альсейка, который почти тридцать лет прожил в эмиграции, тесно сотрудничая с реакционными эмигрантскими организациями США. В 1972 году он приехал в Литву и обратился к Советскому правительству с просьбой разрешить остаться на Родине.

— Я очень сожалею,— сказал на пресс-конференции Альсейка,— что все эти годы не принимал участия в народном строительстве. Верю, что своим решением окажу помощь и тем соотечественникам, вместе с которыми я ошибался...

С тех пор прошло десять лет. Журналист А. Осадчая встретилась с Альсейкой, который после возвращения на Родину живет в Вильнюсе, и взяла у него интервью.

— ***Витаутас, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем занимались вы до войны? Почему покинули Литву и уехали за рубеж? Что толкнуло вас на этот шаг?***

— Теперь, по прошествии многих лет, я ясно вижу все свои промахи и ошибки. Но тогда, в молодые годы, в пучине военного времени мне было сложно разобраться и в обстановке и в своих собственных чувствах.

Я родился в Литве в семье врачей. Окончил юридический факультет Каунасского университета и начал рабо-

тать в Министерстве иностранных дел буржуазной Литвы. В годы войны во время оккупации служил в адвокатуре Вильнюса. А в 1944 году, когда Советская Армия освобождала Прибалтику, поддавшись минутной панике, бежал на Запад. Решил переждать несколько лет за рубежом. Бежал, ничего не взяв с собой и даже не успев проститься с матерью. Сделал первый неверный шаг — и пришлось идти по этой дороге дальше, делать второй, третий, искать, приспосабливаться к чужому, непонятному миру...

— *Как встретил вас Запад, где работали вы первые годы?*

— Я не мыслил свою жизнь без любимой работы юриста и журналиста. Но ни в Австрии, ни в Западной Германии, ни в США, где я позднее оказался, я не мог устроиться по специальности. Приходилось делать все, чтобы заработать на кусок хлеба: мыл посуду в ресторане, работал грузчиком и даже убирал в морге. Жил одиноко, жениться не решился из-за вечной неустроенности. Друзей у меня тоже не было ни среди местного населения, не очень склонного к общению, ни среди литовцев-эмигрантов.

— *Как попали вы в реакционные эмигрантские организации, почему начали сотрудничать с ними?*

— В те годы за рубежом эмигранты периода второй мировой войны создали сеть буржуазно-националистических антисоветских организаций. Возникли так называемые «миссии», «консульства» буржуазной Эстонии, Латвии, Литвы.

Живя за рубежом, я, естественно, интересовался, что делается на Родине, и почитывал литовские эмигрантские газеты, из них черпал хоть какую-то информацию, хотя объективность ее была весьма сомнительна. Однажды прочитал объявление, что Главному комитету освобождения Литвы (реакционная эмигрантская организация, созданная сразу после войны в Западной Германии) требуется литературный работник для редактирования газеты.

Не раздумывая, ринулся по этому объявлению. Во-первых, это работа по специальности, во-вторых, верный кусок хлеба, в-третьих — общение с литовцами. С какими? Толком я об этом тогда не знал, да особо и не задумывался. Главное — работать и быть среди земляков.

Земляки, однако, оказались весьма разными. Насколько обрадовался я встрече с Лозорайтисом (бывший министр иностранных дел буржуазной Литвы, под началом которого начинал работать еще до войны), и как быстро наступило разочарование... Вскоре я узнал, что Лозорайтис и многие другие руководители Комитета освобождения Литвы вели грязную закулисную игру и использовали свою организацию главным образом для подрывной деятельности против СССР. Главным для них было личное обогащение, желание вернуть свои давно утерянные поместья и фабрики.

Не один год пришлось наблюдать мне жизнь верхушки реакционной литовской эмиграции. Живут только прошлым, пытаются создавать «государство» в чужих государствах и замыкаются в собственном кругу. Это относится, конечно, не только к литовцам. Такое же положение среди латышских, эстонских, украинских и других буржуазно-эмигрантских групп.

— *Кем вы работали в Комитете освобождения Литвы, какие у вас были обязанности? И что привело вас к переосмысливанию ваших взглядов, к решению вернуться на Родину?*

— Придя в Комитет по объявлению, я неожиданно для себя быстро сделал «карьеру». Ну, во-первых, такие люди, как я — юристы, журналисты — были нужны этой организации, работал я добросовестно. А во-вторых, мое знакомство с Лозорайтисом тоже сыграло свою роль. Вскоре я стал уже редактором эмигрантской литовской газеты, а потом — начальником отдела пропаганды Комитета. Имея доступ ко многим секретным документам, я узнал о связи Комитета с ЦРУ. Прикрываясь патриотическим лозунгом «освобождения Литвы», эта организация вела активную антисоветскую деятельность, занималась провокациями, всячески пыталась помешать литовским эмигрантам общаться с Советской Литвой. Меня вместе с другими литовцами руководители Комитета освобождения направляли на всемирные фестивали молодежи в Вену и Хельсинки, на Римскую олимпиаду с целью вести подрывную работу среди советской делегации. Но эта наша миссия, как правило, не давала никаких результатов.

Решение порвать с реакционной литовской организацией

и вернуться на Родину не было внезапным. Оно назревало постепенно, точно так же, как и мое разочарование жизнью в странах Запада — ФРГ и США.

— *Оставались ли у вас родственники в Литве, имели ли вы с ними переписку?*

— В Каунасе у меня осталась мать. Но я не писал ей, потому что сразу после войны кто-то из «земляков» сказал мне, что после моего бегства за рубеж ее выслали в Сибирь. И лишь спустя много лет, через третьи руки, получил я от нее письмо и узнал, что это была ложь. Никуда ее не высылали, мать как жила, так и живет в Каунасе, работает врачом. Мать стала писать мне письма, посылала книги, различные литовские сувениры и рассказывала о своей жизни, о деятелях науки, культуры и искусства, нашедших в Советской Литве свое место...

И вот первый мой визит на Родину, к матери, в 1970 году, который совершил окончательный переворот в моем сознании. Хоть и на склоне лет, но я нашел в себе силы сделать



Труден был путь на родную землю литовского журналиста Витауса Альсейки.

правильный шаг. В 1972 году я порвал с эмигрантской литовской организацией в США, вернулся на Родину.

— *Как вы устроились после возвращения в Литве, чем стали заниматься?*

— Мать моя, к сожалению, вскоре умерла. Из Каунаса я переехал в Вильнюс, у меня здесь прекрасная квартира. В Литве мне не пришлось, как на Западе, искать работу. Журналистика — моя специальность, я занимаюсь ею. Выступаю как политический комментатор по Литовскому радио. Пишу о Советской Литве для прогрессивных литовских газет, издающихся в США, являюсь консультантом в издательстве. И конечно, работаю над собственными книгами. В 1977 году на литовском языке вышла моя книга «Три десятилетия в эмиграции».

— *О чем же она, ваша книга? Какие отзывы получила она в республике, дошла ли до зарубежной литовской эмиграции?*

— Книга вызвала большой интерес читателей и быстро разошлась. Небольшая часть тиража была отправлена за рубеж в прогрессивные литовские организации. Книга дошла и до реакционной эмиграции и вызвала самые резкие, злобные отклики.

Само название книги раскрывает ее содержание. Я пишу о своем пути в эмиграции, описываю, как тридцать лет скитался на чужбине, как искал работу, как жил в одиночестве, без дома, без семьи. Пишу о реалиях «свободного мира»: варварская война США против Вьетнама, расизм, наркомания, преступность, жертвой которой и я бывал неоднократно. Рассказываю, как и почему произошла переоценка моих взглядов и пришло решение вернуться домой. Критикуя и осуждая в своей книге преступную антисоветскую деятельность Комитета освобождения Литвы, я в то же время пишу и о тех дорогих часах, что принесло мне общение с честными людьми эмиграции, ведь без этих коротких часов долгие годы моего скитания оказались бы вообще беспросветными. Я написал о трагических судьбах деятелей литовского искусства и литературы в эмиграции, где большинство из них так и не смогли найти применение своему таланту. Многим пришлось менять профессию и отказываться от творческой деятельности. Я общался с писателем

В. Креве, которого считали в эмиграции «везучим» человеком и который в то же время, я знаю, постоянно чувствовал неудовлетворенность своим творчеством, своей оторванностью от Родины. Грустно вспоминать мне известную солистку Каунасской оперы, которая, уехав за рубеж, жила там лишь одними воспоминаниями; я пишу об ученом, не находящем применения своему таланту. И это произошло потому, что многие деятели литовского искусства, бежав от социализма и уверовав в свою националистическую миссию на чужбине, засохли, словно ветвь, оторванная от ствола...

— *Витаутас, чем занимаетесь сейчас, над чем работаете, как живете?*

— Мне уже немало лет — за семьдесят, однако чувствую я себя бодро и продолжаю журналистскую деятельность: готовлю передачи на радио, публикуюсь в республиканской прессе, сдал в издательство свою вторую книгу «Америка как Америка», которая должна выйти в свет в 1983 году.

А пока в 25 номерах «Вечерних новостей» на литовском и русском языках публиковались отрывки из этой книги. Сейчас работаю над своей третьей книгой —«15 республик СССР», которая будет издана для зарубежного читателя на английском языке.

Но для того, чтобы писать, надо знать и видеть, поэтому я много путешествую. Побывал во всех союзных республиках, плавал на теплоходе по Волге от Москвы до Астрахани, собираюсь побывать в Сибири, проплыть на теплоходе по реке Лене.

Хочется надеяться, что будущая книга Витаутаса Альсейки о Советском Союзе, об обретенной Родине станет столь же популярной, как и предыдущая, и поможет зарубежному читателю понять, почему он вернулся домой.

Возвращение через 222 года

Удивительную историю эту нужно, наверное, начать с рассказа о двух событиях, которые произошли в одном и том же месте — в северо-восточном «углу» Черного моря, там, где Прикубанье Таманским полуостровом смыкается с Керченским полуостровом Крыма... О двух событиях, отделенных друг от друга сроком ровно в 222 года, рассказывает журналист А. Шамаро.

Первое событие случилось в 1740 году. В один из летних дней здесь, на пустынном берегу Таманского полуострова, неподалеку от турецкой крепости Суджук-Кале, которой суждено было в будущем стать городом Новороссийском, тысячи людей грузили свои пожитки в большие рыбацкие лодки. Даже издалека можно было безошибочно узнать в них русских: на мужчинах были казачьи шапки, на женщинах — пестрые сарафаны. Слезно причитали женщины, голосисто ревели дети. Люди прощались с Родиной, прощались навсегда.

Это были донские казаки, участники народного восстания под водительством Кондратия Булавина, приверженцы верного сподвижника его — атамана Некрасы, Игната Некрасова. Вместе с семьями ушли они на Кубань после предательского убийства Булавина и разгрома восставших царскими войсками. Здесь, на Кубани, которая тогда еще не принадлежала России, они, некрасовцы, или «игнат-казаки», как их звали крымские татары, создали своеобразную казачью «республику». А теперь под жестоким напором царских войск им, потерявшим за три года до этого в боях своего Некрасу, нужно было уходить на чужбину, в Турцию...

222 года пронеслось с тех пор над этими берегами, неузнаваемо преобразив их. И вот 25 сентября 1962 года в том же «углу» Черного моря произошло другое событие. К причалам Новороссийска подошел белоснежный теплоход-гигант «Грузия». Подали трап, и по нему стали вереницей спускаться на причал люди, приехавшие из-за моря. Это были прямые потомки сторонников атамана Игната Некрасова, которые, выполнив его главнейший завет, возвратились в «Расею без царизмы».

Но вернемся к первому событию, к лету 1740 года.

За плечами «игнат-казаков», уплывавших от царских карателей на чужбину, был долгий, страдный и славный путь...

Начало восемнадцатого столетия на Дону озарило пламя народного восстания, во главе которого встал атаман Булавин. Поводом к казацкому бунту было строжайшее требование царя Петра выдать ему сорок тысяч беглых крестьян из центральных районов России.

Донцы отвергли царский ультиматум. Российское правительство направило на Дон карательные войска. Каратели вознамерились залить, загасить вольнолюбивый дух казаков потоками крови. Они убили в боях около 30 тысяч казаков, казнили 7 тысяч. Трупы казненных на плавучих виселицах были пущены вниз по Дону для устрашения низовых станиц. Петр I добился своего: не живыми, так мертвыми взял.

Атаман Игнат Некрасов из Есауловской станицы был самым стойким соратником Булавина. Спасая от поголовного истребления казаков, ставших под его знамя, Некрасов увел их осенью 1708 года за пределы тогдашней Российской империи, в низовье Кубани. Все они были старообрядцами. Так называют тех, кто не принял реформы православия, проведенной патриархом Никоном в XVII веке и поддержанной светской властью. Ортодоксальное православие видело в старообрядцах оппозицию.

Петра I сменили новые самодержцы. На Кубань стали засылать царских послов. Но казаки не шли на примирение, наотрез отказывались возвратиться с повинной под высокую государеву руку. Игнат дал им завет: «Царизме не покоряться, при царизме в Расею не возвертаться...» Но царские войска неотвратимо прижимали их к морю.

И они ушли за море от злой судьбы своей, взяв с собой знамя Игната и его атаманский жезл.

Ушли на 222 года.

Что же пережило это маленькое, но изумительно стойкое казачье «племя» за эти два с четвертью века? Тогда часть некрасовцев переселились в Азиатскую Турцию, на берега небольшого озера Майнос, неподалеку от Мраморного моря. Там и прожили они крохотным людским островком, сохранив язык и песни, обычаи и одежду своих предков, некогда ушедших с Кубани на чужбину. Лишь однажды, в середине прошлого века, полтораста семей переселились на островок Бейшеирского озера в южной Турции и почти все вымерли там.

Сходились на круг, избирали атаманов. Жили по заветам, оставленным Игнатом Некрасовым. Заветы эти были правилами казацкой жизни и нравственности, конституцией и уголовным кодексом одновременно, и их бережно передавали из поколения в поколение. Средства на жизнь добывали рыбной ловлей.

После 1878 года, когда в Турцию, потерпевшую поражение в войне с Россией, хлынули переселенцы-мусульмане с Кавказа и из Болгарии, султан распорядился селить их рядом с некрасовцами. Казаки в ту пору впали в немилость: отказались воевать против русских на стороне султана.

Мухаджиры (так звали новых переселенцев) стали подлинным бедствием для казаков. Почувствовав безнаказанность, мухаджиры грабили казаков, отнимали земли и даже убивали. Жить некрасовцам стало совсем невмоготу. Сидели они в своем селе, как в осажденной крепости. Вести из России до них уже не доходили.

Но не забывали они о некрасовских заветах, не теряли какую-то непостижимо глубинную, почти уже не осознанную, но неугасимую, как священный вечный огонь, верность русской земле. Заветы Игната Некрасова призывали их ждать той светлой поры, когда будет «Расея без царизмы»...

Надо сказать, что казаки-некрасовцы не только ждали...

В. Д. Бонч-Бруевич, один из соратников Ленина, писал в статье, посвященной доставке в царскую Россию нелегальной газеты «Искра», издававшейся Лениным за границей:

«Очень удачно перевозила «Искру» транспортная группа социал-демократической организации «Жизнь», действовавшая, с одной стороны, через латышей, а с другой — через самостоятельную обширную организацию, созданную в Румынии и работавшую через рыбаков, по преимуществу казаков старообрядцев-некрасовцев, которые ловко перевозили литературу в Россию через Дунай; там транспорты нелегальной литературы принимались и доставлялись в глубь России».

222 года изгнания окончились сентябрьским днем 1962 года в Новороссийском порту. На морской причал сошли 1017 человек, 1016 сели на советский теплоход в Стамбуле, а 1017-й родился уже на борту.

Поездом отправились в места, облюбованные незадолго до приезда их представителями,— в Левокумский и Бургун-Маджарский совхозы Ставропольского края. В жизни некрасовцев началась новая полоса.

Прежде всего надо сказать о материальной стороне дела, о том, что репатрианты сразу же ощутили помощь Советского государства. Начнем с турецкого берега. Проезд на теплоходе, а потом на поезде и автобусах был полностью бесплатным. Сразу по приезде каждая казачья семья получила безвозмездное пособие, а кроме того — ссуду на строительство дома. Из нее половина — безвозмездная помощь государства, а остаток они должны были погашать в течение десяти лет, начав выплаты через три года после новоселья. Многодетные семьи получили дополнительную помощь от совхозов и совхозных профсоюзных комитетов.

Собираясь в долгий путь, казаки не могли забрать с собой домашний скарб, и здесь им выдали все необходимое, вплоть до посуды. Наибольшую заботу, естественно, проявили о детях. Самых маленьких устроили в детские сады и ясли. Тех, что постарше, определили в школы-интернаты. Парни поехали учиться на трактористов и шоферов.

Хорошие заработки в совхозах позволили переселенцам обзаводиться вещами, которые раньше они в лучшем случае видели лишь издалека,— мотоциклами, велосипедами, радиоприемниками, телевизорами. Даже священник стал разъезжать на мотоцикле.

Характерный штрих: в один день со мной в Левокумский совхоз приехал из районного центра председатель райисполкома, чтобы вручить казачке Агафье Ивановне Шепелевой грамоту:

«Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Указом от 15 июля 1963 г. присвоил Вам — матери, родившей и воспитавшей одиннадцать детей, почетное звание «Мать-героиня».

Некрасовцы, которые на чужбине неуклонно вымирали, стали прибывать числом. Исчезла угроза физического вырождения из-за браков с родственниками.

И конечно, все казаки получили работу.

Левокумский совхоз раскинул свои виноградники по левому берегу реки Кумы. Совхоз работает летом по четкому распорядку. Рабочих отправляют к виноградникам на автомашинах ровно в восемь утра и привозят в поселок на часовой обеденный перерыв в полдень. В час дня — снова из центра поселка отходят машины.

И вот в этот новый ритм попали некрасовцы, привыкшие гнуть спину от зари до зари и никогда не помышлявшие о том, что кто-то, кроме них самих, может заботиться об их здоровье и отдыхе, об их жизненных удобствах. Ведь в последние годы они могли быть только батраками в турецких рыболовецких артелях. И с них, как говорится, готовы были три шкуры содрать. Аванс на покупку сетей, к примеру, нужно было отрабатывать в поте лица три-четыре месяца, а если уловы были плохи — так и все девять. И как были удивлены молодые казаки, записавшиеся в вечернюю школу, когда директор совхоза распорядился отпускать их домой сразу с обеденного перерыва!

— Когда приехал в Расею,— рассказывал мне молодой казак Петр Пушечкин,— только тогда и жить зачал... А в Турсии идешь в эту пору и оглядываешься, как волк: не бежит ли кто за тобой... С восьми вечера на улицу носа не показывали...

В последние годы жизни своей на чужбине некрасовцы были низведены турецкими властями до положения бесправных париев. Любое беззаконие, произвол, издевательства, проявленные по отношению к ним,— все сходило безнаказанно...

Не только Петр Пушечкин, каждый некрасовец «зачал жить» по возвращении на землю своих предков. И не сразу пообвыклись они в новой, совершенно неведомой для них советской жизни. Много было историй трогательных, смешных и поучительных...

Целый короб ужасов и небылиц наговорили турецкие власти некрасовцам, когда те решили ехать в Советский Союз.

— Как только приедете к коммунистам в Россию,— стращали казаков,— детей ваших отберут у вас и поместят в специальные детские комбинаты. Потом женщин — в одну сторону, мужчин — в другую. Женщин угонят коров доить, а мужчин — военные базы строить.

Конечно, такие разговоры не прошли бесследно для казаков, глухой стеной отгороженных от всяких правдивых вестей о Советском Союзе. И многие — особенно казачки — ехали с холодком в груди: «А вдруг и правда!»

И вот в Прикумске случилось такое происшествие... Некрасовцы приехали в этот город холодным и слякотным днем. Товарищи из райисполкома решили доставить переселенцев в совхозные поселки с максимальными удобствами. Женщин с детьми посадили в автобусы, а мужчин — в крытые брезентом автомашины. Автобусы пришли в поселки раньше грузовых автомашин. И вот тут женщины переполошились, заголосили:

— Отделили!..

Сколько смеха, сколько шуток, сколько смущенных улыбок было, когда к поселку прикатили и грузовые автомашины!

Первые недели девчат из домов по вечерам не выпускали — живы были еще страхи, привезенные из Турции. Старики «на разведку» ходили, в клуб заглядывали, на киносеансы наведывались. Постоят, молча посмотрят и — уйдут...

— А нынче,— вздыхают сейчас старики,— девчат и домой не загонишь...

Первое время фельдшер в поселке Левокумского совхоза с утра до вечера ходил по домам, где разместили некрасовцев. Другого пути не было: казаки не знали, куда идти захворавшему, куда вести или везти больного.

...Наверное, «последним атаманом» казаков-некрасовцев можно назвать Василия Порфирьевича Саничева. Это он возглавил кампанию за возвращение в Россию, «до родного языка», как он сам любит говорить. Это он, преодолев препятствия, которые чинили турецкие власти и горстка отступников, не пожелавших ехать в Советский Союз, побывал летом 1961 года в СССР вместе с казаком Симоном Шепелевым.

— Отец мой в пятьдесят восьмом умер,— сказал Василий Порфирьевич.— Даже плакал перед смертью,— все просил нас, чтобы мы его прах сюда, на Родину привезли.

Некрасовские «ходоки» познакомились с советской жизнью, побывали в местах, где правительство СССР предложило поселиться казакам,— и облюбовали Восточное Ставрополье.

Живет и работает Василий Порфирьевич в совхозе Левокумском, заведуя складом винного завода. Это энергичный, подвижный казак среднего роста; короткие, как-то по-мальчишески подстриженные волосы заметно пересыпаны сединой. Борода —«лопаткой», совсем седая. На голове его — выцветшая фетровая шляпа. Такие шляпы, серые или коричневые, любят носить некрасовцы. Говорит он быстро, с первых же слов увлекаясь рассказом и подсобляя речи живой жестикуляцией. Для вящей убедительности и достоверности турки в его рассказах говорят по-турецки, болгары — по-болгарски. А сам он тотчас же переводит, чуть приглушив голос и скосив глаза в сторону того из его слушателей, который в этом переводе нуждается.

Я заметил, что «язык» для Василия Порфирьевича — понятие куда более широкое и глубокое, чем средство общения между людьми. «Язык»— символ Родины, на которую его предков свыше двух столетий звали заветы атамана Некрасы. И Саничев с переполнявшей его радостью говорил:

— Тут ведь язык свой!.. Разные агитаторы нас смущали. Подбивали нас переселяться в Канаду. Всякое про вашу жизнь гуторили. А наши казаки решили: «Пойдем до своего языка, до братьев по крови, на землю своих предков!» Как переехал я границу, у меня в сердце сто светов открылось. Кругом свои, свой язык!..

Родной язык был для некрасовцев все время их изгнания и гордостью, и опорой, и незримой пуповиной, связывающей их с далекой и полузабытой Россией.

— А самый чистый русский язык энто у нас,— с великой гордостью говорили некрасовцы еще сто лет назад русскому журналисту Иванову-Желудкову, побывавшему у них в Турции.— Пройди по всему белому свету, чище нашего языка не найдешь...

Перед отъездом из Левокумского совхоза, субботним вечером, я решил побывать на богослужении у казаков-некрасовцев.

Небольшой храм, который сами верующие казаки складывают из белого камня на окраине совхозного поселка, еще не был достроен, и поэтому они молились в двух просторных смежных комнатах, отведенных по распоряжению директора в здании общежития. И пока над этим временным молитвенным домом возвышается не восьмиконечный старообрядческий крест, а радиоантенна.

В «передних углах» каждой комнаты, под потолком, были приколочены полки, и на них стояли рядком старинные иконы. К крупным деревянным иконам были прислонены маленькие, бронзовые.

Перед иконами теплились тоненькие свечки. Когда свечка догорала, кто-либо из молящихся зажигал от огарка новую и приклеивал ее большим пальцем к краю полки.

Алтарь в дальней комнате заменял обычный стол, покрытый плотной желтой скатертью. На столе лежали коричневый деревянный крест для благословений и старые церковные книги в черных потрепанных переплетах. Другие, более массивные книги (одна из них походила на куб) были аккуратно сложены на табуретку в углу... Это все, что им удалось привезти сюда из-за Черного моря: турецкие власти перед самым отъездом некрасовцев отобрали у них около ста старинных церковных книг.

Когда я пришел, в молельне, возле алтаря, стояли двое молящихся — сам казачий священник Трифон Иванович Пронюшкин, облаченный в малиновую ризу с желтыми поперечными полосами, и пожилой худощавый казак в сером длинном пиджаке и темных брюках в полоску (судя по покрою, привезенных из Турции).

Трифон Иванович — фигура весьма колоритная... Невысокий и полный казак, краснолицый и круглолицый, с длинными темно-русыми волосами, расчесанными на прямой пробор и стянутыми под затылком в толстую косичку. Кстати, днем Трифон Иванович вместе со своей паствой работает на виноградниках. У него трое детей. Старший, Даниил, уже выучился на комбайнера; средний, Ванюша, недавно вступил в комсомол, мечтает стать летчиком.

— Трифон Иванович,— полюбопытствовал я, когда он, окончив службу, стянул с себя ризу и положил ее на алтарь,— а во сколько начнется завтра воскресное богослужение?

— В шестым...— коротко ответил он усталым голосом.

— Так рано?

— Да, в шестым... Надо было бы в восьмым, как положено, да народ на базар в Прикумск собирается, хочет поскорее.

На следующий день, ровно «в шестым», я снова пришел в молельню. Службу долго не начинали: ждали священника. Наконец кто-то сообщил, что Трифон Иванович с утра пораньше укатил на попутной машине в Прикумск по своим делам. Пришлось начинать без священника. Мужчины убрали ризу с алтарного стола и стали по очереди читать Евангелие.

...Я думал о значении религии в судьбе некрасовцев, о том, что вряд ли в Турции Трифон Иванович позволил бы себе пропустить воскресное богослужение. И это понятно. Тогда вокруг казаков была иная жизнь, враждебная им. Память о родине предков теплилась догорающей церковной свечкой. И старинные церковные книги были единственным осколком «родного языка», а вера отцов — единственным способом выразить и утвердить национальное самосознание. Потому за веру и держались так крепко все некрасовцы.

А теперь потребность в этом отпала. Кругом — родной народ, «родной язык», как они говорят. Там, в Турции, у них не было иных русских книг, кроме церковных. А здесь... Мне довелось просидеть несколько часов в библиотеке Бургун-Маджарского совхоза. Библиотекарь Мария Антоненко принимала читателей. Всего лишь за два часа, с

одиннадцати утра до часу дня, к ней пришли сменить книжки пятьдесят ребят из некрасовских семей. Среди них был и двенадцатилетний школьник Кирилл Стрелков. Он — самый большой книголюб и среди сверстников, и даже среди взрослых казаков. За неполных девять месяцев Кирилл прочел полтораста книг. Разумеется, ходят в библиотеку и взрослые некрасовцы. Любопытно, что все они очень любят читать книги об истории Отечества, особенно новейшей. И это не удивительно. Ведь на чужбине они ничего не знали, кроме путаных и зачастую лживых слухов. А теперь они наверстывают упущенное.

ВИКТОР ЯХОНТОВ: «Служу тебе, отечество...»

На кладбище Александро-Невской лавры в Ленинграде стоит памятник. «Ученый. Писатель. Патриот. Виктор Александрович Яхонтов. 1881—1978»,— высечено на черном мраморе. Это могила русского генерала, прожившего в общей сложности около 60 лет на чужбине.

Потомок героев Отечественной войны 1812 года, кадровый русский офицер Виктор Яхонтов производится в генерал-майоры в столь решительный для судеб России 1917 год. 36-летний генерал назначается заместителем военного министра буржуазного Временного правительства Керенского.

Генерал Яхонтов не сразу понимает суть свершившейся Октябрьской революции. Этим непониманием объясняется его поспешный отъезд в Японию. Но победа Красной Армии в гражданской войне, народный характер новой Советской власти не могли не вызвать симпатий у патриотически настроенного и широко образованного генерала. Этим он резко выделялся среди многочисленных деятелей эмиграции.

Судьба заносит генерала Яхонтова с семьей в Соединенные Штаты Америки. С середины 20-х до середины 70-х годов он ведет активную деятельность по ознакомлению сотен тысяч американцев с достижениями советского народа. Патриотическая деятельность Яхонтова достигает апогея в годы второй мировой войны: высокий авторитет приносят ему многочисленные выступления (генерал был превосходным оратором) о борьбе советского народа и Красной Армии против фашистского нашествия, о значении этой борьбы для судеб всего человечества.

В нелегкие годы «холодной войны», разгула маккартизма генерал Яхонтов, несмотря на преследования и угрозы со стороны американской реакции и антисоветского эмигрантского отребья, остается верен себе и своему Отечеству. Он работает в Секретариате ООН, редактирует прогрессивную русскую газету «Русский голос»...

На теплоходе «Александр Пушкин» в сентябре 1975 года Виктор Яхонтов возвращается на Родину. Последние годы своей жизни он провел в Москве. Вскоре после его возвращения в «Неделе» (№ 5, 1976 год) была опубликована статья Э. Церковера «Одиссея генерала Яхонтова».

11 июня 1976 года «за активную многолетнюю патриотическую деятельность и в связи с девяностопятилетием со дня рождения» Виктор Александрович Яхонтов награждается орденом Дружбы народов. В его яркой жизни воплощена судьба лучших представителей русской эмиграции.

Одиссея генерала Яхонтова

Февральский день, за окнами морозная Москва. Мы сидим у него дома друг напротив друга, и он рассказывает свою историю. Он помнит отчетливо и остро каждый час и миг своей судьбы — судьбы поразительной, парадоксальной и все же закономерной.

Виктор Александрович Яхонтов родился в 1881 году в России, в семье генерал-майора Александра Дмитриевича Яхонтова. По материнской линии Виктор Александрович — потомок двух знаменитых генералов, чьи портреты входят в картинную галерею героев 1812 года в ленинградском Эрмитаже: М. М. Милорадовича и Н. И. Депрерадовича.

Старинная дворянская семья, славные предки — дорога в жизнь открылась перед Виктором Яхонтовым прямой и гладкой: Петербургский кадетский корпус — Павловское военное училище — академия Генерального штаба. Затем он получил роту Александра Невского полка и старался сделаться для солдат «отцом-командиром». Учил их грамоте, показывал диапозитивы, беседовал об искусстве, режиссировал в ротном любительском театре. Кроме Яхонтова, никто из офицеров полка этим себя не утруждал.

Он служил «верой и правдой царю и отечеству», женился на дочери своего полковника — Мальвине Витольдовне, был любим и счастлив.

— Я не искал личных выгод, теплых местечек, хотя имел право выбрать любую свободную вакансию, окончив академию Генерального штаба в числе первых на курсе. Предоставляли должность в штабе царской гвардии, в Петербурге. А я попросился на Дальний Восток. Стал служить в Хабаровске. Вскоре новое предложение: командировка в Японию для изучения языка и страны.

Весной 1910 года Яхонтов прибыл в Токио. За четыре года языком овладел в совершенстве. Много писал о Японии, переводил статьи из прессы, книги; труды его, переводы

и рефераты не остались незамеченными. Он перевел и в 1914 году издал в России целый том «Истории русско-японской войны», выпущенной японским Генеральным штабом.

— В Токио я узнал, что Россия вступила в первую мировую войну. Не теряя ни одного дня, выехал в Хабаровск, а оттуда в Петербург — хотел в действующую армию.

Яхонтов стал начальником оперативного отдела 10-й армии, действия которой вошли в историю первой мировой войны как примеры доблести русских солдат.

В книге «На трудном перевале» А. И. Верховского, который служил тогда в штабе 10-й армии (а впоследствии стал профессором Военной академии Красной Армии), есть такие строки: «Юридически 10-й армией командовал генерал Сиверс, фактически — начальник оперативного отдела полковник Яхонтов».

— Оценка старого сослуживца, видимо, не свободна от субъективности,— замечает мой собеседник.— Но Верховский бывал свидетелем того, как я ориентировался в боевой обстановке. Генералы Сиверс и Радкевич подчас принимали решения, согласованные с моим видением и пониманием ситуации. С капитаном Александром Верховским мы подружились. Выпускники одной академии. У нас были одинаковые взгляды. Мы равно возмущались верхоглядством царского правительства, придворными интригами, косностью и бездарностью многих генералов. Равно восхищались отвагой наших солдат.

Весной 1916 года ставка направила Яхонтова в Англию и Францию. Союзники готовили наступление, предстояло скоординировать действия. В Лондоне его принял военный министр Гораций Китченер.

— Говорил он резко, по-солдатски прямолинейно,— вспоминает Яхонтов.— Но со мной был предельно корректен, принял представителя русской армии с подчеркнутой любезностью: он был заинтересован в нас, в наших солдатах. Китченер выяснял у меня, какими военными возможностями и резервами располагает Россия, расспрашивал о питании и боеприпасах, о духе наших войск. Информация удовлетворила лорда: собираясь в Россию на переговоры, он предложил мне сопровождать его в этой поездке. Я отве-

тил, что имею приказ следовать во Францию, а затем посетить русских послов в Швеции и Норвегии. «Очень жаль»,— сказал Китченер. Кстати, отказ спас мне жизнь: крейсер, на котором лорд отправился в Петербург, то ли подорвался на мине, то ли был торпедирован кайзеровской лодкой — Китченер погиб.

В Париже Яхонтов явился к человеку, с которым, как показало время, у него было много общего,— к русскому военному атташе во Франции графу А. А. Игнатьеву.

— Алексей Алексеевич — мой родственник и давний друг,— рассказывает Виктор Александрович.— Он повез меня в ставку французских войск в Шантильи и представил главнокомандующему армии Франции маршалу Жозефу Жоффру. И тот расспрашивал меня не меньше, чем Китченер. Тогда во Францию прибыл русский экспедиционный корпус, был устроен парад, перед которым меня познакомили с президентом Франции Раймоном Пуанкаре. Назавтра в газетах появился фотоснимок: парад принимает Пуанкаре, а рядом с ним, чуть позади, стою я... Жоффр разрешил мне объехать фронтовые позиции французских войск; там я встретился и побеседовал с маршалом Фердинаном Фошем.

В России Яхонтова ждало новое назначение. Сослуживцы преподнесли ему старинную кавказскую саблю с гравировкой: «Старшему и лучшему товарищу В. А. Яхонтову от чинов штаба десятой армии».

Поехал Виктор Александрович не на передовую, а за тысячи верст к востоку от фронта — в Японию, военным атташе. Ему пришлось вести дела с финансистами, промышленниками, купцами, от которых зависело выполнение русских военных заказов. В Токио он узнал, что в России — Февральская революция, что монархия свергнута. Это известие не ошеломило Яхонтова. Мало кто из мыслящих людей в России не чувствовал, что самодержавие вот-вот рухнет.

В сентябре 1917 года его вызвали в Петроград. Фронтовой друг Александр Иванович Верховский, только что назначенный военным министром Временного правительства, предложил ему пост заместителя министра.

— Лишь по воле случая оказался я в столь непривычной роли. Не был я к ней готов, да и не мог быть: офицерский

корпус старой армии держался подальше от политики. Лишь дружеские отношения с Верховским заставили принять его предложение. И то при условии: оставить за мной должность русского военного атташе в Японии.

Яхонтов был произведен в генерал-майоры. Верховский и он стояли за то, чтобы Россия вышла из кровопролитной войны. Но Верховский был смещен с должности министра и выслан из Петрограда: буржуазное Временное правительство России стояло «за войну до победного конца». Тогда с требованием мира выступил Яхонтов; его никто не поддержал. Министр иностранных дел Милюков сказал сухо: «Это мы уже слышали от Верховского...»

Октябрьскую революцию Яхонтов не понял, саму революцию не принял. Следуя указанию Генерального штаба, уехал в Японию выполнять обязанности военного атташе. И дело было даже не в указании.

— Рассуждал я так,— рассказывает Яхонтов,— предположим, я иду к восставшим. Но примут ли они меня? Такого же, как я, заместителя военного министра, князя Туманова, матросы бросили в реку...

Дворянин и офицер, он не мыслил себя вместе с восставшим народом. Но и пойти против народа, против людей, с которыми он вынес опасности и беды войны, он тоже не мог. Потому Яхонтов, не поняв красных, не захотел поддержать и белых. Один из главарей контрреволюции адмирал Колчак в 1918 году приехал в Токио добывать оружие и деньги для своей «освободительной миссии» и нанес официальный визит русскому военному атташе. Яхонтов принял его очень холодно и сухо и постарался максимально сократить общение с ним. Не стал помогать ни деньгами, ни оружием (хотя и мог) и посланцу другого белого мятежника — казачьего атамана Семенова. Напрасно атаман звал генерала Яхонтова вместе бороться с красными на Дальнем Востоке России.

В апреле 1918 года японцы высадились во Владивостоке. Находиться более в стране, которая начала военную интервенцию в Россию, Яхонтов не счел возможным. Вместе с женой и дочерью он отправился в Соединенные Штаты...

Все, что до сих пор рассказано здесь, по сути лишь предыстория генерала Яхонтова. Только в том, что произо-

шло с ним дальше, видел Виктор Александрович смысл своей жизни.

В Америке он оказался в сложном положении. Там еще существовало посольство уже свергнутого Временного правительства России. Вокруг него группировались люди, казалось бы, близкие Яхонтову,— бежавшие от революции генералы, офицеры, аристократы. Но они ратовали за чуть ли не всемирную интервенцию в Советскую Россию ради реставрации монархии, ради сохранения своих старых привилегий. Эта вакханалия лжи и ненависти поразила Яхонтова. Он мучительно искал свою позицию по отношению к событиям на Родине.

— Я размышлял,— вспоминает Яхонтов:— у твоего Отечества много врагов; пойдя вместе с ними, пойдешь против родного народа. Когда соотечественники спрашивали меня: «Что же делать?», я отвечал: «Нам надо учиться и стараться понять, что происходит на Родине». Поверьте, я не жалел о потерянном прошлом, о прерванной карьере. Я думал и искал... Положение мое было не из лучших: домой вроде бы не вернешься, личная жизнь не устроена, со значительной частью своих соотечественников-эмигрантов я порвал. Можно было позаботиться о себе, приспособиться к американским нравам и, как говорится, делать деньги... Но я не хотел... Чтобы не увязнуть в трясине эмигрантского быта, в переживаниях по утраченному, не уронить человеческое достоинство и — главное!— не оказаться отторгнутым своим народом, надо было посвятить себя служению интересам обновленной Родины.

Генерал Яхонтов решил рассказывать правду о Советской России, бороться с яростным и несправедливым охаиванием ее. Вокруг него была гигантская страна, которая не признавала Республику Советов. И все же он начал борьбу — в одиночку. И это был его подвиг.

В 1919 году, в разгар гражданской войны, в самые драматические дни иностранной интервенции в Россию Яхонтов опубликовал смелую статью «Чем сильна армия большевиков». Он с гневом и возмущением писал о «воинах белой гвардии», которые пытали и вешали, рубили и жгли пленных красноармейцев, называл палачей преступниками. «Хочется крикнуть безумцам, чинившим расправы: остановитесь...»

Контрреволюционная эмиграция обвинила Яхонтова в «измене своему классу».

— Меня спрашивали, почему я «переменил фронт». Я ответил: «Фронта не менял. Шел от одного этапа понимания действительности к следующему, что и привело к той позиции, которую я занимаю».

Собирая из всех возможных источников все возможные сведения о жизни и борьбе своего народа, он стремился проанализировать, здраво оценить события, заглянуть в будущее. Он все более осознавал правомерность Октябрьской революции и проникался все большей симпатией к Советскому государству.

Оказавшись по делам в Париже, Яхонтов снова встретился с бывшим русским военным атташе во Франции А. А. Игнатьевым.

— Мы довольно долго смотрели испытующе друг другу в глаза, и он сказал: «Виктор, я выбираю Советы». «Я тоже, Алеша,— ответил я.— Вот моя рука». И мы пожали друг другу руки.

Долгое время Соединенные Штаты не признавали Советский Союз, игнорировали его на международной арене. Яхонтов решил: пользу Родине он может принести, делая все возможное для улучшения отношений между СССР и США. Он задумал публичные выступления перед американцами — своего рода устные рассказы о Советском Союзе, о его месте и роли в международных делах. Так началась лекционная эпопея Яхонтова, которая продолжалась более сорока лет.

В 1926 году Яхонтов был приглашен участвовать в работе Института политики в Вильямстауне, созданного по инициативе американских деловых кругов для обмена мнениями по международным проблемам. На первой сессии института он сделал доклад о Советском Союзе.

— Я знал, что большая часть аудитории враждебна к Советскому государству. И поэтому начал с вопроса о несостоятельности и бесперспективности политики, направленной на дискредитацию СССР.

На следующий день «Нью-Йорк таймс» на первой странице сообщила, что бывший офицер царской армии генерал Яхонтов выступил в Институте политики с докладом о

Советском Союзе, не оставляя сомнений в том, что он его одобряет.

...Перед нами на столе газеты с рецензиями на его лекции — рецензиями в несколько колонок и в несколько строк, с портретами самого лектора; программки, выпущенные в тех местах, где он выступал,— тоже с отзывами и с перечислением учреждений, уже приглашавших его. Из всего опубликованного видно, что Яхонтов стал очень популярным в США лектором по внешнеполитическим вопросам: «СССР и Лига наций», «Соединенные Штаты — Китай — Советская Россия», «Как достичь сотрудничества с СССР», «Борьба за мир», «Внешняя политика СССР»...



В памяти многих американцев остались блестящие выступления в годы второй мировой войны генерала В. А. Яхонтова. На снимке — афиша выступлений Яхонтова в Нью-Йорке.

Его приглашали беспрерывно. Университеты Колорадо, Канзаса, Мичигана, Калифорнии, Орегона... Колумбийский университет, Гарвард, Стамфорд, Принстон, Лафайет, Антиох. Военная академия в Вест-Пойнте. Колледжи, торговые палаты, ассоциации. Рабочие клубы, клубы бизнесменов, женские клубы. Его хотели слышать журналисты и фермеры, рабочие и деятели искусства, сенаторы и ученые; его хотели слышать всюду, как говорят американцы, «от берега до берега», от Атлантики до Тихого океана.

Бывало, и нередко, что его противники в зале старались помешать, сорвать лекцию. Например, в Бостоне поднялся один из слушателей и стал обличать: как, мол, не стыдно, царский офицер, генерал, и вдруг защитник и рупор Советского Союза. Но зал заревел: «Не мешайте! Замолчите! Вон!» В бостонской газете отчет о лекции был напечатан под заголовком «Аудитория выставила критика». Кстати, несколько лет спустя после лекции в американском городе Кембридже к Яхонтову подошел человек и протянул руку со словами: «Может быть, помните инцидент на вашей лекции в Бостоне? Это был я, и я был не прав. Правы вы».

— В Миннесоте, где мы выступали вместе с Полем Робсоном в 1940 году (он пел, я читал лекцию), со мною пожелали встретиться некоторые ученые и писатели. Сказали, что среди них будут Альберт Эйнштейн и Томас Манн. По пути туда меня обуревали сомнения и волнение. Как выступать перед такими умами, как Манн и Эйнштейн! Войдя в зал, где они собрались, я уже знал, что делать. Предложил тему для дискуссии: «Что, если победит Гитлер?» Взяв слово, я нарисовал страшную картину фашистского засилья: террор, коричневая инквизиция, уничтожение целых народов, гибель того, что все нормальные люди понимают под словом «цивилизация». Я доказывал, что единственная сила, способная противостоять фашизму,— это социализм.

В дискуссию вступил Томас Манн. В своих доводах он возлагал надежды на западную демократию. Спор был жарким, для многих полезным; он затянулся до полуночи. Когда мы прощались, Эйнштейн обнял меня за плечи и сказал, имея в виду моих оппонентов: «Нет, они еще к этому не готовы...»

15—875

Когда началась Великая Отечественная война, Виктору Александровичу исполнилось 60 лет. Он был не в силах «отсиживаться за океаном», он рвался на фронт. Военный с боевым опытом, он помнил окопы в болотах, окружение, отчаянные контратаки. Яхонтов пришел в советское посольство, просил направить его в распоряжение командования Красной Армии, дать ему возможность сражаться плечом к плечу с советскими людьми, защищать родную землю... Посол СССР К. А. Уманский выразил Виктору Александровичу признательность за патриотический порыв и сказал, что Яхонтов будет более полезен Родине, оставаясь в Америке. «Ваше оружие,— сказал посол,— это слово, которое должно так же беспощадно разить врага, как оружие наших бойцов».

И Яхонтов снова в пути, «от берега до берега». Чикаго, Нью-Йорк, Детройт, Лос-Анджелес, Де-Мойн, Питтсбург, Филадельфия... И самые маленькие городки, названия которых и американцам не все знакомы. Лекции почти ежедневно, часто по два раза в день... Он разоблачал расистскую, человеконенавистническую идеологию фашизма, раскрывал перед американцами освободительный характер войны советского народа против фашизма, ратовал за открытие второго фронта.

Осень 1941 года, Сан-Франциско. В это время враг был под Москвой; многие американские газеты предвещали развал советского фронта. Яхонтов вышел на сцену, к тысячам слушателей, и сказал: «Немцы Москвы не возьмут! А если случится иначе — значит, я ничего не смыслю в военном деле, которому посвятил всю свою жизнь... Побьем, все равно побьем! Разгром врага неизбежен, как бы ни было сейчас тяжело Красной Армии!»

Он говорил: «побьем». Подразумевал —«мы». Он считал себя советским. В этих выступлениях страсть и боль русского сердца, вера настоящего патриота сливались с неотразимой логикой и убедительностью аргументации. И слушатели заражались его уверенностью, проникались его надеждой.

В 1942 году Виктор Александрович выступил более 220 раз. В автомобиле, поезде, самолете носился он по Америке, и убеждал, и подбадривал, и призывал. Иногда он отставлял микрофон, и без усилителя гремел его командирский голос:

— Когда наши потомки будут изучать вторую мировую войну и попытаются силой своего воображения представить, что происходило в эти дни, то никакое другое имя не будет произноситься с такой благодарностью, как Россия!

Это было нелегко — убедить американцев, на чью землю не падали вражеские бомбы и снаряды, американцев, которые не знали воздушных тревог и затемнений, не ели картофельных очисток и свекольной ботвы, не ведали, что такое блокада и оккупация,— нелегко было убедить этих находившихся в безопасности людей, что там, на полях России, решаются и их судьбы, что они должны всеми силами бороться против нацизма.

Он выступал в Сент-Луисе. Положение Красной Армии на фронте было тяжелым. Что же сказал лектор огромному залу? Он знал, чем пронять американцев:

— Только что в Филадельфии окончился матч боксеров. Чемпион мира Джо Луис проиграл двенадцать раундов. А в тринадцатом отправил соперника в нокаут! Вот так будет и на русском фронте...

Выступая по телевидению, Яхонтов рассказал русскую притчу об охотниках. Очутившись в медвежьих лапах, один кричит другому: «Гаврила, я медведя поймал!»—«Тащи сюда!»—«Да я тащу, только он меня не пускает!» И телезрители поняли: в прицеле этой шутки — Гитлер, который тоже вроде бы «поймал» русского медведя. Америка была восхищена этой передачей. Противники Яхонтова прозвали его «нештатным красным послом». Он гордился этим прозвищем.

...Я листаю объемистые тома в солидных переплетах — его книги, изданные в США. Вот первая, вышедшая в 1930 году,—«Россия и Советский Союз на Дальнем Востоке». Яхонтов исследовал и обобщил материалы, собранные во время его пребывания в Японии, Китае, Монголии, Корее. Он показал, что в отличие от захватнической политики царизма на Дальнем Востоке политика СССР дружественна по отношению к дальневосточным соседям. Этот труд был рекомендован высшим учебным заведениям Америки, переиздан в Англии. Вторая книга Яхонтова —«Взгляд на Японию»— анализировала тогдашнюю японскую внешнюю политику. Книга вышла в 1936 году, в ней Яхонтов пред-

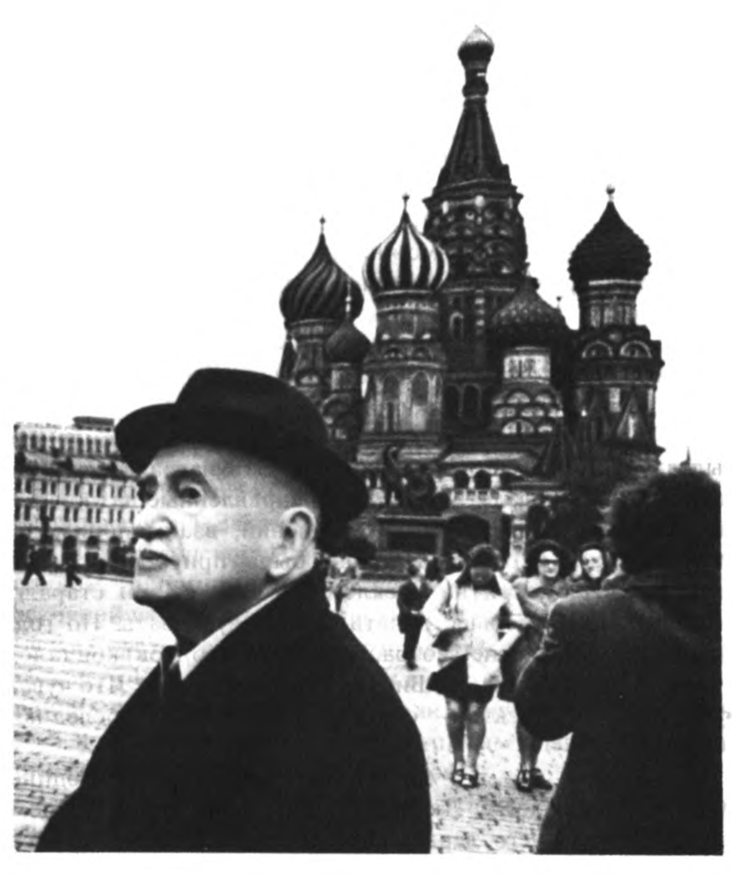
сказывал нападение Японии на США. Военные руководители Америки знали об этой книге, но не приняли ее всерьез. А 7 декабря 1941 года был Пёрл-Харбор, где погибли лучшие корабли США и тысячи моряков... Книга «СССР — внешняя политика» увидела свет в 1945 году. В ней раскрывается многосторонняя деятельность Советского государства на международной арене, его роль в борьбе за мир между народами, за всеобщую безопасность.

В 1947 году Виктор Александрович, которому тогда исполнилось 66 лет, пошел сдавать экзамены. Сдал их блестяще и был принят на должность редактора отдела переводов в Секретариат ООН. Шесть лет он с исключительной энергией трудился в Секретариате ООН.

Но реакционеры, враги советско-американского сотрудничества, не забыли его выступлений, статей и книг. В разгар маккартизма Яхонтова вызвали в сенатскую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Обвинений, имевших под собой хоть какую-нибудь почву, предъявить не смогли. Член комиссии сенатор Джеймс Истленд спросил: «Почему вы, бывший русский генерал, столь просоветски настроены и поддерживаете своими выступлениями и книгами новый режим у себя в стране?»

— Я ответил,— вспоминает Яхонтов:—«Почтенный сенатор, на неуместный вопрос, не относящийся к данному делу, я мог бы и не отвечать. Но поскольку этим вопросом затронута честь моей Родины, то я должен напомнить, что «новый режим», о котором вы, сенатор, отзываетесь с презрением, пользуется безграничной поддержкой многомиллионного народа. А после того, как Советский Союз продемонстрировал перед всем миром грандиозные успехи в созидании новой жизни и сыграл решающую роль в разгроме фашизма, его стали уважать все честные люди на земле. Горжусь свершениями моего народа и преклоняюсь перед социальным строем, обеспечившим России достойное место среди других стран... Хочу добавить, что нынешние напряженные отношения между США и СССР, наступившие после плодотворного сотрудничества в период второй мировой войны,— явление временное. Судьба упорно продолжает работать над тем, чтобы свести русских и американцев вместе, как того требуют интересы не только

двух стран, но и всего человечества». Вот что я ответил. И полагал, что вопрос исчерпан. И вдруг мне пришлось предстать перед судом, хотя никаких законов США я не нарушал. «Зачем вы читали лекции об СССР?»— спросил судья. «Затем, что американский народ должен знать правду, а не сказки о Советском Союзе»,— ответил я. Никакого обвинения мне и здесь не сумели предъявить. Единственное, что удалось маккартистам,— это выжить меня с работы.



Как и для всякого советского человека, для В. А. Яхонтова Красная площадь — сердце Родины, начало всех начал. Фото Д. Ухтомского.

Мне предложили покинуть отдел переводов Секретариата ООН: дескать, чересчур преклонного возраста.

Но Яхонтова трудно выбить из седла. Он возглавил «Русский голос»— прогрессивную газету русской общественности в США. Разил своим пером поджигателей войны, писал правду об СССР, давал отпор авторам антисоветских фальшивок. «Русский голос» последовательно выступал за развитие американо-советских отношений, за дружбу народов СССР и США.

...В послевоенные годы Яхонтов несколько раз приезжал в СССР. А в конце 1975 года он попросил разрешения окончательно вернуться на Родину. Отечество приняло своего сына.

Он вернулся один. В 1966 году, после более чем полувековой совместной жизни, скончалась Мальвина Витольдовна, верная спутница, жена и друг. Он обратился тогда в Советское посольство с просьбой разрешить ему перевезти прах супруги на Родину, в Ленинград. Яхонтову была предоставлена такая возможность. В Америке осталась дочь Ольга Викторовна. В Америке растут внуки и правнуки Яхонтова.

Виктор Александрович получил квартиру в новом доме в центре Москвы. Ему была назначена пенсия. О нем заботились. Он обрел много новых друзей.

Он был необычайно взволнован, когда в Кремле ему был вручен орден Дружбы народов. Эта награда достойно увенчала его многолетние усилия, направленные на укрепление советско-американских отношений, взаимопонимания двух великих народов. Награда была приурочена к его 95-летию. Несмотря на преклонный возраст, он старался больше ходить, больше видеть, больше узнавать. Но годы брали свое. В 97-летнем возрасте генерал Яхонтов скончался.

— О чем вы думаете, Виктор Александрович? Что чувствуете здесь, в Москве?— спросил я его в нашу последнюю встречу.

— Думаю, что нет ничего на свете дороже Родины. Этим я жил и живу. Люблю Родину, хочу добра родному народу. Верю в него, верю в силу, мощь, талант, в честность моего народа. Желаю ему дальнейшего процветания.

Листок львовского дуба

В советской прессе — в газетах «Известия» и «Голос Родины», в журналах «Вокруг света», «Журналист», «Отчизна» — неоднократно публиковались рассказы, очерки, статьи за подписью Виктора Ляховчука, рабочего Львовского производственного объединения имени 50-летия Октября. Пишет он на самые разнообразные темы: сравнивает советский образ жизни с капиталистическим, рассказывает о судьбах эмигрантов и репатриантов, о рабочих своего завода. В течение нескольких лет газета «Львовская правда» присуждает ему премию «Золотое перо» как лучшему рабочему корреспонденту газеты.

Кто же он, Виктор Ляховчук, рабочий и журналист? Об этом рассказывает журналист А. Осадчая.

В 30-х годах его родители (было тогда Виктору три года) эмигрировали из Западной Украины, которая находилась под властью панской Польши, в Аргентину. Отец работал столяром, принимал активное участие в деятельности прогрессивной украинской организации. В годы войны он обращался в Советское посольство с просьбой принять его в ряды Красной Армии, хотел с оружием в руках защищать Родину. С ранних лет отец и мать прививали сыну любовь к родной земле, и когда он подрос, стал активным членом русского прогрессивного клуба имени Горького.

В начале 60-х годов семья решила вернуться на Родину.

— Виктор Ильич, почему ваша семья, прожив четверть века в Аргентине, решила вернуться домой? Какая за эти годы у вас была связь с Родиной, что знали вы о ней?

— Связи практически не было. Родственников у нас на Львовщине не осталось, ни с кем мы не переписывались, на Родину не приезжали. Но знали о ней много, жили ее интересами. В этом нам помогал клуб имени Горького, который в те годы объединял всех прогрессивно настроенных выходцев из России. В клубе была большая русская библиотека, мы получали и периодические издания из Советского Союза. Наш самодеятельный театр ставил пьесы только русских и советских авторов. В клубе был свой хор, богатая фонотека — русские советские песни на любой вкус. Словом, мы жили жизнью своей страны. Радовались ее успехам, переживали ее беды.

Был в моей жизни эпизод, который я никогда не забуду: однажды отец пришел с работы не таким, как всегда. Он был грустен и молчалив, отказался от ужина. А ночью я увидел, как отец, уронив голову на руки, плакал. Оказывается, в тот день фашисты заняли Киев. Я помню в те дни свою мать, склонившуюся поздней ночью над шитьем. Она, как и многие другие женщины, шила и вязала теплые вещи, которые отправлялись Обществом помощи Родине сражавшимся с гитлеровцами красноармейцам. Помню праздничный стол в нашем доме в День Победы и тот незабываемый миг, когда я впервые в жизни увидел, как на фоне голубого неба гордо трепетал красный флаг над зданием Советского посольства.

— *Каковы ваши первые впечатления о нашей стране после возвращения домой? Какова оказалась реальность по сравнению с тем, что вы знали?*

— Многое в жизни СССР мы идеализировали, и это сказалось после возвращения на Родину. Часть бывших эмигрантов сразу же столкнулась с трудностями, к которым была не готова.

В связи с этим мне вспоминаются слова тогдашнего консула СССР в Буэнос-Айресе, который, вручая советские документы группе соотечественников, сказал, что у советских людей еще много трудностей, что война была тяжелой, разрушения — огромными, что нет возможности всем и сразу предоставить хорошие квартиры, что все это дело будущего, дело труда советского народа. Но все это будет, обязательно будет, подчеркнул консул. Так оно и оказалось в дальнейшем.

— Виктор Ильич, приехав в Советских Союз, вы пошли на завод рабочим. А была ли возможность устроиться по какой-то другой специальности или учиться?

— В Аргентине я закончил коммерческое училище и перед отъездом на Родину был служащим солидной торговой фирмы. Конечно, по возвращении домой я мог бы продолжать работать в этой сфере или начать учиться в институте. Но я считал себя в долгу перед Родиной и потому пошел работать на завод, считал, что рабочий больше принесет пользы, чем служащий, пока еще плохо знающий жизнь своей страны и слабо владеющий русским языком. А учиться — это ведь значит какое-то время быть на иждивении у общества. Мне казалось, что я не имел на это права.

В заводском коллективе девятнадцать лет тому назад я вступил в члены КПСС. Для меня это была высшая награда, признание, что я свой, что я нужен Родине. Путь в партию для меня вполне логичен: ведь в четырнадцать лет в Аргентине я стал уже членом Коммунистической федерации молодежи.

— Вы и теперь простой рабочий? Удовлетворяет ли вас ваша работа?

— Что значит простой рабочий? Сейчас в жизни нашего общества заметно повышается роль рабочего класса, труд рабочего наполняется интеллектуальным содержанием. Проиллюстрирую это на собственном примере. Я рабочий шестого, высшего разряда. Работал на сложнейшем расточном станке с электронным управлением. На экранах станка плавно передвигаются микроны, за которыми надо четко следить и быстро их подсчитывать. Но в прошлом году я был назначен мастером цеха. А это большая ответственность и интересная работа.

Я участвую не только в производстве, но и в управлении своим заводом. Приведу примеры.

Со своими мыслями и предложениями я могу зайти к генеральному директору объединения. На партийных и профсоюзных собраниях я выступаю наряду с директором объединения или начальником цеха, и к моим предложениям прислушиваются, по ним принимаются различные решения. В заводской газете как-то была опубликована моя критическая статья о бытовых и производственных непо-

16-875



Почти двадцать лет трудится Виктор Ляховчук во львовском объединении «Пятьдесят лет Октября». Фото Б. Кршитула.

ладках в нашем цехе. Статья обсуждалась администрацией, партийным комитетом предприятия. В результате недостатки были устранены, и теперь наш цех работает значительно лучше, стал передовым.

Как видите, к мнению рабочего у нас прислушиваются. Рабочие участвуют в решении и разработке производственных проблем, в дискуссиях на различные темы. В шестом номере журнала «Журналист» за 1981 год напечатана моя большая статья дискуссионного плана о роли рабочего человека в управлении производством, в решении экономических и социальных проблем одиннадцатой пятилетки. Статья отмечена редакцией как лучшая, за нее я премирован и очень горд этим. На мой материал редакция получила массу откликов. Значит, она задела за живое, значит, многих тревожат поднятые мною вопросы.

А вы говорите — простой рабочий...

— *Вот мы и заговорили о ваших публикациях, о том, что сейчас составляет, как я понимаю, неотъемлемую часть вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, как и почему вы стали писать, как пришли в журналистику, кто помогает вам?*

— Писать я начал почти сразу, как приехал в Советский Союз. Писал ужасно коряво, безграмотно, но с большой любовью к людям, к своей только что обретенной Родине. Меня все поражало, я все воспринимал обостренно, постоянно сравнивал: как здесь у меня в стране и как там, вапиталистическом мире. Мне все время хочется писать обо всем: об усталом участковом враче, который поздно вечером приходит к моей матери; о рабочих, отдающих свою кровь товарищу, попавшему в беду; о пожилой учительнице, к которой заходят ученики. И о людях, что недобросовестно относятся к своей работе, которые сами себя обкрадывают.

Факты просто шли мне в руки, я не мог не писать. Помню одну из моих первых публикаций в «Львовской правде», которая называлась «Листок львовского дуба». Как родилась она? Как-то в руки мне случайно попал номер аргентинского журнала, где было напечатано обращение молодой учительницы к общественности своей страны. Мария дель Кармен Арганярис просила помочь детям, которым не на чем писать. Меня взволновало это письмо, я побежал в магазин, накупил школьных принадлежностей и отослал их в маленький аргентинский город. В письме рассказал, как живут и учатся советские дети и наша молодежь, что им дает государство.

Вскоре от Марии пришел трогательный ответ: «До вчерашнего дня я не верила в чудеса. Откуда вы взялись? Откуда знаете испанский? Нам пришлось переворошить весь город, пока мы нашли достаточно большую карту, чтобы найти на ней город, в котором вы живете. Вы меня сделали знаменитой на весь город. Ведь раньше у нас никто не получал писем из Советского Союза, мне все завидуют. Листочек дуба, который вы прислали мне, я положила в коробочку и никому не даю трогать. На него приходят смотреть, ведь дуб у нас не растет. Мой брат интересуется, на каких станках вы работаете?»

Ну разве можно было такую переписку положить в стол? Я пришел в «Львовскую правду», познакомился с заведующей отделом Розой Викторовной Конышевой, и она помогла мне сделать этот материал.

— *Виктор Ильич, давайте поговорим вот на какую тему: о критике в советской прессе. Этот вопрос часто*

бывает поводом для различных вымыслов на Западе, основной подтекст которых — свободна или не свободна советская печать, имеет она право критиковать или нет? Писали ли вы критические материалы и были ли какие-то препятствия на пути их публикации?

— Я уже более двадцати лет живу в Советском Союзе, ко многому привык, а ко многому, по-видимому, никогда не привыкну. И злюсь, когда люди брюзжат по мелочам, забывая порой об огромных достижениях нашей страны в целом. Обидно еще и потому, что в недостатках чаще всего виноваты мы сами. И я пишу о неполадках в производстве, о недобросовестных людях. Немало таких материалов было опубликовано в нашей заводской газете и в «Львовской правде».

Об одном моем критическом материале мне хочется рассказать. Еще в Аргентине я зачитывался романами Олеся Гончара, очень люблю этого писателя. Когда появился его новый роман «Собор», я сразу схватился за него и... был разочарован. Прочитал рецензии — везде положительные отзывы, а мне роман не понравился. Сел и написал рецензию, которую назвал «С точки зрения рабочего». Принес в «Львовскую правду». В редакции были в основном согласны с моими суждениями, но колебались — публиковать или нет. Некоторые считали: все-таки нетактично, что такую видную фигуру (Олесь Гончар известный общественный деятель, тогда — председатель правления Союза писателей Украины) будет критиковать простой рабочий. И все-таки рецензия была напечатана. Вот оно, доказательство ценнейшего качества советской печати — возможность выразить собственное мнение невзирая на личности.

И еще на одном критическом материале мне хочется остановиться. Последние годы я переписываюсь с сотрудниками журнала «Журналист». И как-то ответственный секретарь предложил мне прокомментировать некоторые публикации областной газеты «Радянска Буковина». Я с удовольствием согласился. Темы этой газеты близки мне: она разоблачает украинских буржуазных националистов, гитлеровских пособников, окопавшихся за рубежом; пишет о современных приемах и методах сионистской пропаганды. Отметив сильные стороны газеты, я в то же время

остановился и на слабых: газета недостаточно ярко показывает нашу советскую действительность, трафаретно освещает пребывание зарубежных туристов в своем крае. Все очерки на эту тему скучные, на одно лицо.

Назвал я свой материал «Неиспользованные аргументы», получился он довольно острым, что несколько озадачило работников редакции, заказывали-то они мне обзор, а не критическую статью. Редакция просила смягчить критику, но я отказался. И материал вышел в таком виде, как я его написал.

— *В наших изданиях публикуется немало материалов о пребывании зарубежных гостей в Советском Союзе. И многие из них, как вы отмечали в «Радянской Буковине», тоже страдают трафаретностью и схематичностью. Одним из лучших материалов на эту тему, мне кажется, был ваш очерк «Что почем?» (или беседа с аргентинским бизнесменом на разные темы), напечатанный в «Голосе Родины» в октябре 1979 г.? Расскажите, как он создавался.*

— Это тоже факт из жизни. Один мой заводской товарищ попросил меня провести экскурсию по городу с его дальним родственником, очень состоятельным человеком, который приехал к нему в гости из Аргентины. Мы ездили по городу, много разговаривали, и этот бизнесмен старался быть объективным в своих оценках. Но его меркантильные мерки никак не подходили к нашим порядкам, а порой были и оскорбительны для нас. Вдруг, не замечая своей бестактности, он стал прикидывать, сколько стоит бронза, из которой в городе отлит памятник воинам Советской Армии. А если эту бронзу перевести в тонны, а тонны в доллары? Зачем тратить столько средств на памятник? Ему не понять это, а нам не понять стяжательскую психологию человека, который все меряет на деньги. Аргументируя фактами, я написал статью об объективной оценке действительности, о преимуществах советского образа жизни и высоких нравственных идеалах наших людей.

— *Виктор Ильич, какой общественной работой вы занимаетесь, удается ли вам где-нибудь применять знание испанского языка?*

— Во-первых, меня часто приглашают выступать с лекциями на различных предприятиях, в институтах, на заво-

дах. И поскольку я непосредственно знаком с западным образом жизни, то могу доказательно и аргументированно сравнивать два образа жизни.

Кроме того, меня часто в качестве переводчика привлекает Львовский творческий клуб молодежи. И тут иногда возникают забавные ситуации: иностранные гости не верят, что я рабочий. Частенько приходится показывать руки, руки рабочего человека. А ведь какой глубокий смысл таится в этом! В Аргентине, когда я был служащим, мне ясно дали понять, что есть черта, переступать которую не позволено. В Советском Союзе такой черты не существует. И у меня много замечательных друзей среди артистов, художников, журналистов.

— *Виктор Ильич, какие ваши дальнейшие планы? Не мешает ли журналистская деятельность вашей основной работе?*

— Пока не мешает. Заводская жизнь, моя общественная работа дают пищу для моей журналистской деятельности.

Я пишу и буду писать, потому что вижу в этом свой долг перед людьми. Мне кажется, мои публикации — самое лучшее свидетельство того, что может достичь рабочий у нас в стране, какие права он имеет и как пользуется ими.



Скованы волненьем мысль и слово.
Не хватает силы передать,
Что такое потерять и снова
Встретить и обнять родную мать.

Только позже, четко и не вкратце,
Я смогу о ней заговорить.
Надо насмотреться, надышаться,
Переволноваться, пережить.

И нахлынут вдруг слова такие,
Что откроют всем лицо свое.
А сейчас я назову Ее
Еле слышным шепотом: «Россия»...

С несравненным именем вдвоем,
Сердце к сердцу, слушаю сквозь слезы,
Как шумят московские березы
Под всеочищающим дождем.

1968

Поэтесса Мария Вега. Долгим был ее путь на Родину. Переломным временем для Марии Вега стала вторая мировая война, жизнь в оккупированном Париже. Она писала стихи о героях Сопротивления — русских эмигрантах, о величии Родины, отстоявшей свою свободу. Вернувшись в СССР, Мария Вега поселилась в родном Ленинграде. Фото Д. Ухтомского.

Как луч света

В публикуемой ниже статье А. Осадчей рассказывается о судьбе Виталия Засорина, вернувшегося в СССР из Австралии.

Она спустилась с трапа самолета, остановилась и растерянно огляделась. Где же он, ее сын, неужели не встретит? Ведь самолет из Австралии пришел вовремя. Пассажиры уже направились к автобусу, а она все стояла в нерешительности. Промозглый осенний ветер гулял по Шереметьевскому аэропорту, и Лидии Григорьевне вдруг стало холодно и одиноко среди многолюдья и гудящих самолетов.

Она никогда не любила смотреть на самолеты, летящие в небе. Потому что при виде их ей вспоминался всегда тот далекий и страшный сорок первый год, когда на Краснодар пикировали немецкие бомбардировщики.

Из оккупированного Краснодара ее, совсем молодую женщину, фашисты вместе с пятилетним сынишкой угнали в Германию.

Что он мог помнить тогда, мальчишка, что понимал и почему более чем через сорок лет жизни на чужбине решил вернуться домой?

Оказывается, помнил и понимал. В 1945 году, когда кончилась война, они оказались в Австрии в лагере для перемещенных.

Там по соглашению между союзниками представители советского командования показывали наши фильмы. И Виталий посмотрел первый в своей жизни советский фильм, который назывался «Зоя». Фильм о Зое Космодемьянской.

Мальчик был поражен: какие люди живут в Советском Союзе, как они любят свою Родину! И тогда он впервые спросил: мама, а мы поедем домой, в нашу страну?

Однако вернуться на Родину тогда не удалось.

Очевидно, для мальчишки, оторванного от родного края, насильно увезенного на чужбину, тот фильм был как луч света, как яркая вспышка, озарившая всю его дальнейшую жизнь. И куда бы судьба ни бросала его с тех пор, он знал, помнил, что у него есть Родина, одна-единственная на свете земля.

Двадцать лет тому назад они из Европы переехали в Австралию, в Сидней. Лидия Григорьевна вышла замуж за русского, так же, как и она, оказавшегося после войны за рубежом. Жизнь складывалась неплохо. Муж имел работу. Сначала снимали квартиру, потом купили свой маленький домик.

Познакомились с русскими, которых немало в Сиднее, и те пригласили их как-то в Русский общественный клуб. И с тех пор их жизнь была неразрывно связана с этим клубом.

Лидия Григорьевна Засорина когда-то в Краснодаре училась в балетной школе и решила организовать в клубе детский танцевальный кружок «Зорька». Сам факт вроде бы незначительный, но весь смысл в том, что этот кружок русского танца — в Австралии, которая ох как далеко от нашей страны. И наверное, там, вдали от Родины, в чужой среде совсем не просто приобщать русских детей к русской музыке, русской культуре, научить родному языку.

Мать упорно разговаривала дома с сыном только по-русски, не отвечала на его вопросы, если он спрашивал по-английски, и приносила домой русские газеты и книги. И для Виталия русский стал родным языком.

В Сиднее Виталий, как и мать, стал активистом Русского клуба. Был киномехаником, устраивал просмотры советских фильмов, на которые собирались и русские, и австралийцы. Как и мать, старался привлечь в клуб малышей, руководил шахматным кружком, занимался со школьниками физикой и математикой.

Виталий закончил школу, начал работать на почте и одновременно вечерами учился в радиотехникуме. Окончив учебу, получил работу на радиостанции. Но вскоре он, активист Русского клуба, участник демонстрации против войны во Вьетнаме, попал в «черный список». Неблагонадежного

русского перевели на более тяжелую и низкооплачиваемую работу.

И все-таки не эти «уроки свободного мира» заставили его задуматься о возвращении на Родину. Тут было другое...

В нем постоянно жило ощущение той далекой, потерянной Родины, которую он почувствовал мальчишкой и которую все время стремился обрести. Он хотел жить на своей земле, среди русских, советских людей, мечтал поехать куда-нибудь в Сибирь на большую стройку.

Но где путь к возвращению, он толком не знал.

Мать видела, чувствовала, что происходит с сыном, но помалкивала. Пускай решает сам. А что могла она посоветовать ему? Сказать — уезжай на Родину, в Советский Союз? Это значит надолго, возможно, навсегда расстаться с сыном, с которым судьба не разлучала ее никогда. Да и как будет жить он там, ее мальчик, как примет его родная земля, которую он знал лишь понаслышке, лишь издалека?— эти мысли постоянно преследовали ее.

Но и удерживать Виталия она не пыталась. Она знала и понимала своего сына. Чувствовала, что никакое материальное благополучие не удержит его здесь. Он просто не смог ассимилироваться на чужбине, не находит себя здесь и постоянно думает об отчей земле. Что же, сама она так воспитала его...

И еще одна проблема беспокоила ее. Шли годы, Виталию уже под сорок, а он все не собирался обзаводиться семьей. На вопросы матери отвечал односложно: хочу жениться только на русской, чтобы понимала меня...

И как-то в Русском клубе он познакомился с советской женщиной Людмилой, которая приезжала из Таганрога в гости к своему отцу, советскому специалисту, работавшему в Сиднее. Они сразу понравились друг другу. Виталий стал строить свои планы более реально. Он подал заявление в советское консульство, и ему разрешили выехать в Краснодар, где живет сестра матери.

Проводы Виталия на Родину отпраздновали в Русском клубе. Сколько сказано было теплых слов, пролито слез! И Виталий, прощаясь с друзьями, поднял тост за русских людей в Австралии. И пожелал им наконец-то построить новый клуб, о котором все они так мечтают. Уезжая, он

внес в фонд строительства нового клуба 2500 долларов. Многие тогда удивлялись, спрашивали: зачем, ведь ты, мол, все равно уезжаешь, и не миллионер ты, чтобы бросаться такими суммами. Но Засорин хотел, чтобы в Австралии был Русский клуб, островок родной земли, объединяющий всех русских.

Почти всю жизнь прожив на чужбине, Виталий Засорин в 1979 году вернулся на Родину.

Вначале обосновался в Краснодаре у своей тетки, в доме, где прошло детство его матери. Вскоре к нему приехала Людмила, они поженились и переехали в Таганрог.

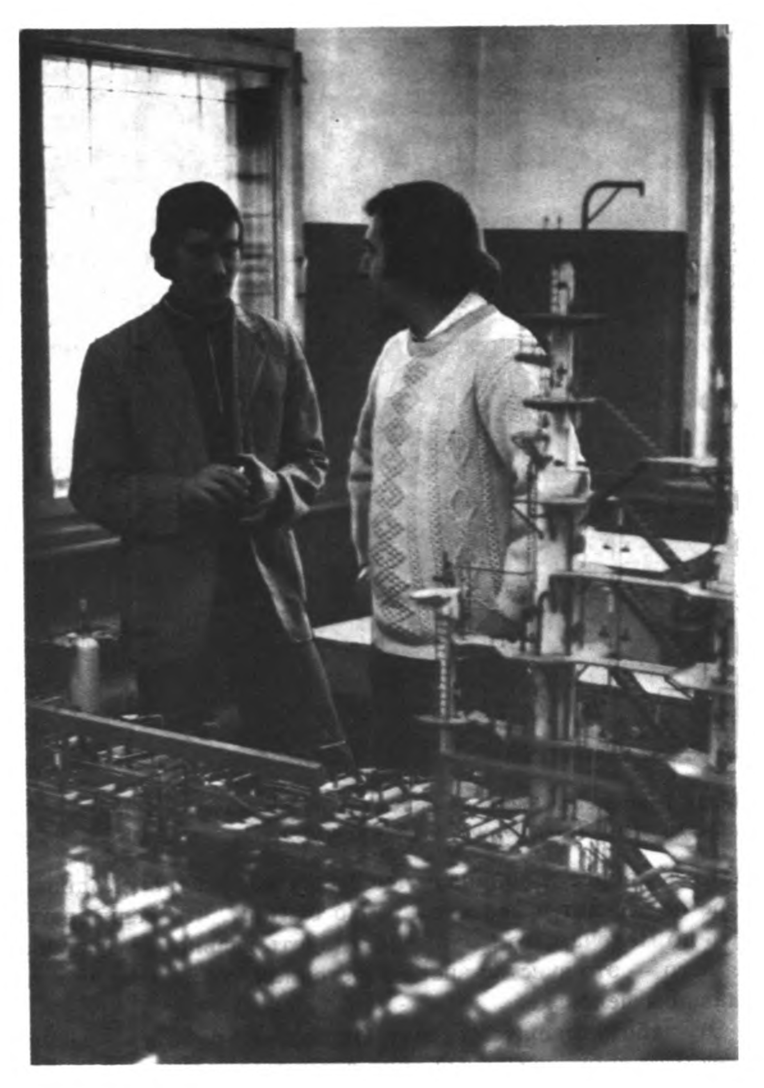
Завод «Красный котельщик», на котором ныне работает Виталий Григорьевич,— крупнейшее котлостроительное предприятие в Советском Союзе. На заводе 18 тысяч рабочих. И мне думалось, что не так-то просто здесь найти Засорина. Но в профкоме сразу же сказали: «Как же, наш австралиец. Да знаем мы его, прекрасный работник». И показали городскую газету «Таганрогская правда», где на первой полосе был напечатан портрет Засорина — слесаря-электромонтажника, передовика производства.

Мне много говорили на заводе о Виталии, и честно скажу, в какой-то момент я даже растерялась: такие похвалы, такие дифирамбы не часто услышишь...

Мы долго разговаривали с молодым инженером из электроцеха.

— Что вам сказать о Засорине?— рассуждал он.— Трудолюбивый и добросовестный товарищ. У нас слесари-электромонтажники работают всегда в паре. И сейчас, когда люди узнали Засорина поближе, каждый хочет работать в паре с ним. Говорят, с ним интересно, он никогда не подведет, все умеет, трудной работы не боится. Не стесняется спросить лишний раз, чувствует, что мы всегда поможем ему. Ведь и года не работает еще на заводе, а уже разряд ему повысили. Через год-другой он наверняка станет специалистом высокого класса.

Естественно, когда Засорин уезжал в Советский Союз, он невольно задумывался: а как его примут советские люди, как будет чувствовать он себя на новом месте, как жить? Он мыслил реально и не строил иллюзий. И сейчас прини-



Потомственным сибиряком считает себя инженер Омского нефтеперерабатывающего завода Киров Мариневич (справа), вернувшийся в 1958 году на Родину из Англии.



Лидия Григорьевна Засорина прилетела из Австралии в Таганрог к своему сыну Виталию. Фото Д. Ухтомского.

мает все доброе и хорошее, что есть у нас в стране, однако остро подмечает и недостатки. Но считает, что если брюзжать по мелочам, то можно проглядеть главное. А главное для него — это чувство вновь обретенной Родины, ее забота о каждом человеке.

Эту заботу он ощутил сразу. Он получил работу — какую хотел. Его добросовестный труд оценил коллектив. А после фотографии в «Таганрогской правде» окончательно исчезло некоторое предубеждение, с которым его вначале встретили на заводе. К нему с уважением стали относиться люди. Он чувствует себя теперь полезным, нужным человеком. А не это ли главное... Они с Людмилой купили неподалеку от моря дом, завод помог его отремонтировать.

И если его иногда спрашивают, не жалеет ли, что приехал, он отвечает, что жалеет лишь об одном — слишком поздно вернулся на Родину.

И еще, скучает и беспокоится он о матери, которая пока остается в Австралии. Но вот теперь она наконец решила навестить сына. И он встретил ее в Шереметьевском аэропорту. Веселый, радостный, он быстро, по-мальчишески прижался к ней: здравствуй, мама! И матери не надо было ничего говорить, ничего объяснять. Если раньше у нее была боль, оставались сомнения: как приживется сын там, как приняла его родная земля?— то теперь она спокойна. Сын нашел то, что искал. Он обрел Родину.

Черешня у калитки

Павел Рабушко вернулся на Родину из Канады. О его судьбе рассказывает журналист А. Осадчая.

Вместе с Павлом Лазаревичем Рабушко мы перебираем фотографии, разложенные на столе. Мой собеседник подолгу рассматривает каждую. В них отражена вся его жизнь, по ним можно четко проследить все ее периоды.

Жизнь в Канаде: поле, ферма.

Первая поездка в Советский Союз: он с женой у стен Брестской крепости, встречи с односельчанами. Рабушко в поле у комбайна, на котором работает его племянник, и, конечно, традиционное застолье.

Второй приезд в СССР: Рабушко в Ленинграде, в Сочи на берегу Черного моря и опять в родном селе.

И наконец, новый период в жизни Павла Лазаревича после возвращения на Родину: он на берегу Азовского моря, у памятника Петру I; в машине вместе со своим племянником; поездки в Москву, Ленинград, Ростов, встречи с родственниками.

Среди фотографий попадаются газетные вырезки. Просматриваем канадский «Вестник» за 1967 год, где Павел Рабушко писал о своем пребывании в родном селе Смидин Ковельского района на Волыни. В конце заметки такие слова: «Когда мы возвратились домой, в Канаду, многие спрашивали нас: а хотели бы вы туда поехать на постоянное жительство? Я отвечал, что нам теперь и в Канаде неплохо. Наша жизнь прошла здесь, мы приехали сюда, когда нам было по 27 лет. Если бы нам было хотя бы по 47, то можно было бы ехать назад. А теперь нам уже поздно начинать жизнь сначала. Однако и Родину свою не надо забывать».

Нынче Павлу Лазаревичу уже не 47 лет, а за 80. И тем не менее десять лет тому назад он все-таки захотел покинуть Канаду и вернуться на Родину.

— Почему с годами вы изменили свое решение?— спрашиваю я.

Почему? Чувствую, вопрос мой повисает в воздухе. Наверное, не с этого надо было начинать разговор. Рабушко глядит куда-то вдаль и молчит. Я не переспрашиваю, продолжаю рассматривать фотографии, понимаю, что сейчас этот пожилой человек — мысленно далеко отсюда...

Наконец, мне на глаза попадает, наверное, то, что нужно: старые маленькие поблекшие снимки, на них — люди вручную корчуют землю, жгут костры.

— Да, это мы,— оживился Рабушко,— так мы начинали там, в Канаде, в местечке Сан Ривер под Виннипегом.

Он говорит заметно волнуясь. Его руки, большие, серые, словно высохшие комья земли, беспокойно теребят фотографии.

— Нам, приезжим разных стран, выделили тогда совсем голую, необработанную землю, за которую надо было еще и платить. Там за все надо платить. Платили, когда ехали в Канаду, платили за землю...

В семье нас было пятеро. Тогда Волынь находилась под властью панской Польши, жили бедно, хатенка старая, земельный надел крохотный — шагами измерить можно; работы в округе никакой. Когда мне исполнилось 20 лет, родители женили меня на односельчанке, у которой было две десятины земли. Ее мы и продали, уезжая в Канаду. Так собрали деньги на дорогу.

Я вспоминаю свои молодые годы и ничего не помню, кроме работы, работы, работы. Сейчас мой племянник Иван, с которым я живу вместе в Таганроге, работает на заводе четыре дня по девять часов, потом четыре дня отдыхает. Да еще отпуск, да разные праздники. А мы с моей Катериной работали по 20 часов в сутки. За все те годы я дальше Виннипега никуда и не выезжал. И только уж к старости, когда у нас появился свой дом, свое хозяйство, смог отдышаться и подумать о чем-то другом. Что-то другое — это в первую очередь желание увидеть близких, побывать на Родине. Перед глазами все чаще и чаще вставала наша

17-875

бедная хата, в которой я провел свою безрадостную молодость. Я очень переживал, когда узнал, что в годы войны фашисты оккупировали мое село. Сдавал бесплатно в фонд Красного Креста пшеницу, которая шла в Советский Союз. И как только появилась возможность, мы с женой в 1961 году поехали на Родину.

Ну что говорить, на Родине меня ожидало больше горечи, чем радости. Я узнал, что родители умерли, два брата погибли. Я увидел развалины Брестской крепости. И только тогда понял, что пережила моя страна. А в селе нашем на месте сожженных хат стояли мазанки, крытые соломой. Такой была моя встреча с Родиной. С болью расставался я со своими сестрами, от которых, казалось мне раньше, я совсем уж отвык; с племянниками, к которым успел привязаться. И тоска по земле, где я родился, еще больше обострилась во мне.

Вернулись в Канаду, и уж сколько расспросов было: в наших местах, под Виннипегом, живет много моих земляков, а я был одним из первых, кому довелось съездить в Советский Союз. Я рассказывал только правду, говорил, что после войны люди живут еще трудно, но сыты и одеты. В моем селе есть и комбайны, и тракторы. Я даже фотографии привез. Эти фото родных мест — неумелые, любительские — я передал в канадский «Вестник». Пусть земляки увидят, как живет родная земля! Я, как тысячи русских и украинских канадцев, помогал своей газете, чем мог, ежегодно вносил средства в пресс-фонд «Вестника».

А когда в 1966 году «Вестник» объявил об организации поездки в СССР, я записался одним из первых.

После второй поездки привез новые фотографии, показывал их землякам, и они смогли убедиться в том, как изменилось, преобразилось некогда нищее волынское село. Дома добротные, кирпичные, крыши под шифером. Сфотографировал я и больницу, и школу, и магазин... Конечно, не все попало на фотопленку... Вот, например, в первый же день нашего приезда пошли мы в клуб смотреть концерт, в котором выступали артисты аж из самого Киева! Для вас, конечно, это не диковинка. А я тогда вспомнил свою юность, детство... Разве могли раньше наши сельские люди это видеть?

Отдыхали мы и на Черноморском побережье, в Сочи. И я узнал, как проводят свой отпуск мои соотечественники. Простые рабочие, крестьяне отдыхают в комфортабельных санаториях, многие по льготным путевкам. Такое в Канаде нам и не снилось...

— Да, если бы не было у меня тех двух встреч с Родиной, пожалуй что, и легче было бы на душе — все вроде давно позабыто, мхом поросло. А тут прикоснулся к родной земле раз, другой и чувствую — тянет она меня к себе с необыкновенной силой! Скучаю по родичам. И еще — все время такое чувство, как будто я в чем-то перед ними виноват. Виноват, что Родину покинул, что в годы войны не встал на ее защиту...

К тому времени у меня и дом добротный был, и хозяйство налажено... Только почему-то пусто в моем доме... Жена умерла, я день за днем кручусь по замкнутому кругу: поле, ферма... ферма, поле. Что же, это и есть вся моя



Только тот, кто прожил на чужбине полвека, сможет понять Павла Рабушко. Фото Д. Ухтомского.

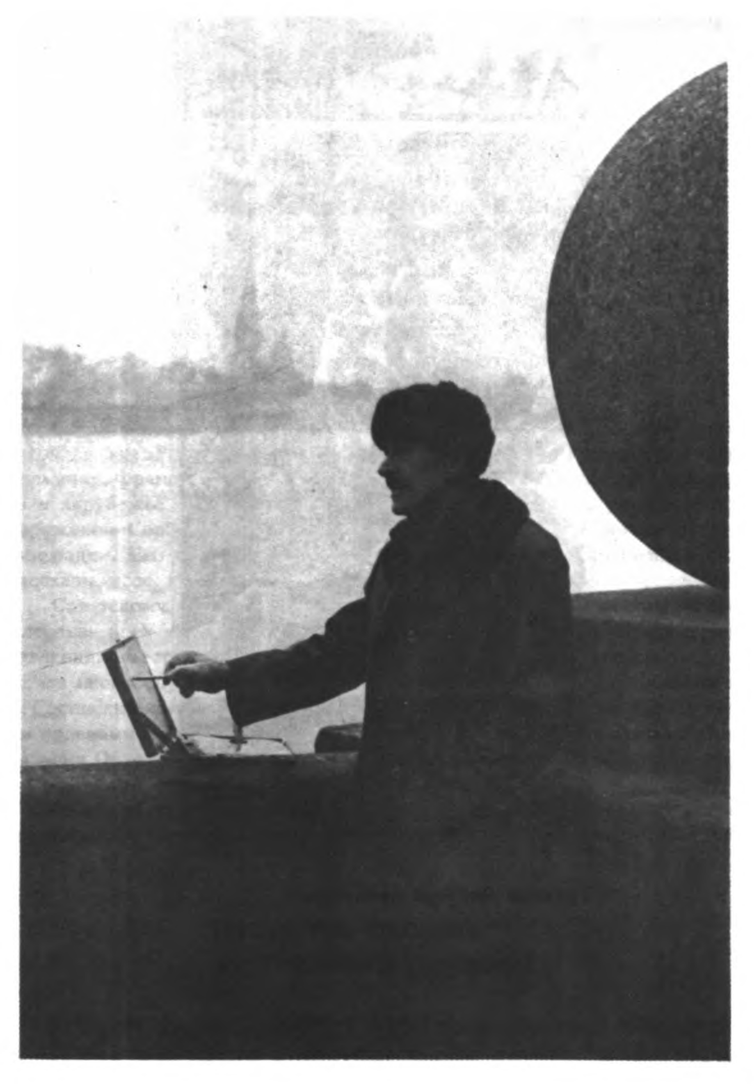
жизнь? Да и жил ли я в полном смысле этого слова?

Поле, ферму — все продал и слезинки не уронил. И в 1971 году уехал в Советский Союз. Решил — не поздно начинать жизнь сначала. В Таганроге обосновался у племянника. Потом купил свой дом.

...Мы сидим под кронами цветущих яблонь, что растут у окон дома. В полуоткрытую калитку заглядывает тоненькая, вся в розовом пуху черешня.

— Вот,— мой собеседник кивает на черешенку,— посадил ее два года тому назад, в День космонавтики. Соседи говорили: не сажай на улице, мальчишки сломают. Ну что ж, мальчишки — они везде мальчишки. Для них ведь и живем, для них и сажаем. Сломают, посажу новую. Но вот, глядите, не сломали, поднялась. Пускай все смотрят. А то стояла бы здесь у меня за забором. Никакой радости, если только мне одному.

Эта маленькая черешенка — на первый взгляд незначительный штрих в нашем разговоре — помогает раскрыть характер собеседника. Несмотря на долгие годы, проведенные на чужбине, он не замкнулся, как в крепости, за своим забором. Потому, верно, и решил вернуться на Родину. Чтобы не коротать в одиночестве дни у себя на ферме, а жить среди людей, вместе с ними и для них.



Поразительна красота Ленинграда! Как часто вспоминал ее художник Виктор Арнаутов, покинувший Родину во время гражданской войны. В СССР он вернулся в 1969 году. Фото Д. Ухтомского.



Гравюра Виктора Арнаутова.

ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ
«Трудно ли было приспособиться?»

Среди тех, кто после Октябрьской революции и гражданской войны оказался вне России, был и Владимир Сосинский. Турция, Болгария, Германия, Франция, США — вот вехи сорокалетних странствий Сосинского в зарубежье. Он студент Софийского и Берлинского университетов, парижской Сорбонны, активный участник литературной жизни русской эмиграции. Его перу принадлежат книги «Махно» и «Срубленная ель», рассказы, эссе, критические статьи.

Советскому читателю В. Сосинский известен по повестям «Герои Олерона» и «У Атлантического вала», рассказывающим о героях Сопротивления, вместе с которыми автор сражался в годы второй мировой войны за свободу Франции. За мужество, проявленное в боях с фашизмом, В. Сосинский награжден Военным крестом с мечами, другими французскими орденами и медалями. С 1947 года он жил в США — работал в Организации Объединенных Наций. В 1960 году Владимир Сосинский вернулся в Советский Союз.

Газета «Голос Родины» опубликовала в 1980 году (№ 48) его открытое письмо к зарубежным друзьям —«Трудно ли было приспособиться?»

Открытое письмо зарубежным друзьям

Я вернулся на Родину в 1960 году. Вернулся навсегда. И до сих пор часто слышу от своих друзей, живущих на Западе, где я провел четыре десятилетия, вопрос: «Трудно ли было приспособиться к новой жизни на Родине?»

Может быть, это не совсем точное слово —«приспособиться», хотя смысл его, судя по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, вполне подходит: «освоившись с чем-нибудь, приобрести нужные навыки, сноровку». Но из этого

слова образовалось другое —«приспособленец», характеризующее человека, который «приспосабливается к обстоятельствам, маскируя свои истинные взгляды». Всю свою жизнь я старался этого не делать.

Желая дать своим зарубежным друзьям ответ исчерпывающий и правдивый, я немало размышлял и вот к чему пришел.

...Когда я работал в секретариате Организации Объединенных Наций, один из моих коллег подарил мне небольшой, изящно изданный в 1951 году томик «Конституции СССР». Этот томик был украшен такой дарственной надписью:

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!» Эти прекрасные слова И. С. Тургенева я знал задолго до получения подарка и всегда подчеркивал: «Никто из нас без Родины не может обойтись».

Знал я все эти сорок лет, прожитых на Западе, и свой грех перед Отечеством, хорошо выраженный в словах генерала Брусилова: грешно покидать Родину, когда она в беде. Чего бы это тебе ни стоило и как бы трудно это ни было, ты должен быть с нею и всеми силами помочь ей преодолеть лихие годы.

Судьба распорядилась моей жизнью так, что в России я прожил ровно двадцать лет: покинул Севастополь в августе 1920-го. Через сорок лет вернулся домой: в августе 1960-го, а 21 августа 1980-го отметил — и если бы вы знали, как! — двадцатилетие своей жизни в Советском Союзе и свое восьмидесятилетие...

Итак, трудно ли мне было «приспособиться» к новой, неведомой мне дотоле жизни на родной земле? Мне было 60 лет, когда я вернулся на Родину,— возраст в нашей стране пенсионный. И хотя я был полон сил и энергии, государство назначило мне пенсию. Но мог ли я сидеть сложа руки и думать лишь о том, как бы получше «приспособиться»? Нет! И нет! Я сразу же включился в активную деятельность. Занимался переводами, был консультантом в Библиотеке иностранной литературы, был избран членом авторского совета газеты «Голос Родины» и журнала «Отчизна», много и активно печатался в журналах «Звезда»,



Согласитесь, в Москве нелегко найти участника французского Сопротивления! Встреча В. Б. Сосинского со школьниками.

«Огонек», «Наш современник», в «Литературной газете». О чем я писал? О сорокалетнем пребывании в зарубежье, рассказывал советскому читателю о том, что пережил, видел, познал.

Очень скоро я «оброс» великолепными друзьями. Ими стали Константин Федин, Константин Паустовский, Леонид Леонов, Корней Чуковский, Сергей Смирнов, Илья Эренбург, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Юрий Нагибин, Назым Хикмет, Ростислав Плятт и многие другие писатели, поэты, актеры. Сколько незабываемых часов провели мы вместе в московском Доме литераторов и в Доме творчества писателей в Переделкине!..

Однако уверен, моих зарубежных друзей интересуют и другие стороны моего «врастания» в новый, советский образ жизни.

Я невольно улыбаюсь, вспоминая первые дни моего пребывания в Москве. Бесконечные встречи с земляками после сорокалетней разлуки с ними. Нежные, трогательные. И смешные. О некоторых вполне можно было бы рассказать в юмористическом журнале.

...Обрадовал меня роскошный мраморно-стеклянный

универмаг. Вхожу, и вдруг наезжает на меня громадная повозка с бутылками молока, чуть не раздавили. Слышу испуганный окрик молодого грузчика.

— Куда прешь!

Конечно, нью-йоркские и марсельские портовые грузчики тоже способны на такое. По себе сужу — я был грузчиком на берегу Золотого Рога: под тяжестью груза человек становится раздражительным.

Зарубежные наблюдатели советской жизни не раз приводили меня в недоумение в Париже, Лондоне, Нью-Йорке: беды, порожденные царской Россией, они приписывали большевикам и, наоборот, достижения в новой жизни приписывали царской России. В первые дни моей жизни по возвращении на Родину я угадывал и редко ошибался: что старое плохое или новое плохое и, наконец, что старое хорошее или новое хорошее. Судил я строго: то, что оставляло меня равнодушным в людях Запада, я не прощал своим.

Случай, о котором я рассказал выше, относится явно к старому плохому. Может вызвать возмущение молодой подсобный рабочий в универмаге, но, позвольте, мало ли было таких удальцов в царской России?! Да, мы боремся с хулиганством и сквернословием. И еще, наверное, долго будем насаждать правила хорошего тона в быту.

Итак, трудно ли мне было «приспособиться» к советскому образу жизни? Поначалу трудно. Как старому «парижанину», мне не хватало в Москве уютных кафе, где французы проводят все свое свободное время... Как «ньюйоркцу», в парках, на детских площадках, где я возился со своими детьми, и на перекрестках мне недоставало струйки холодной воды из фонтанчиков, чтобы утолить жажду. С недавних пор такие фонтанчики и у нас появились. Меня тяготили очереди в магазинах: там, откуда я прибыл, бывают лишь очереди... за билетами на гастроли нашего Большого театра и на биржу труда.

Не буду говорить о нашем больном вопросе — о сервисе, который, кстати сказать, с каждым годом на моих глазах улучшается, о том, что в автобусах или метро молодые люди не всегда уступают место инвалиду с палочкой или беременной женщине; это меня не удивляло: французы, преподав всему миру урок вежливости или, еще лучше, га-

лантности, нынче тоже никому не уступают место, толкаются, не извиняясь. Удивляло меня и сердило поначалу, что на дверях некоторых магазинов без предупреждения накануне появлялись такие таблички: «Закрыто на учет», «Санитарный день». Потом привык, как все мои земляки.

И все-таки мне очень повезло с возвращением на Родину!

Как-то знакомые передали мне слова покойного Ильи Эренбурга: «Да, тут сомнений нет. Это самая счастливая семья из вернувшихся на Родину». И назвал мое имя.

Вписываться в советскую жизнь приходилось не только мне, но и жене моей и двум нашим мальчикам. Меня очень удивило, как совсем иначе, не похоже на меня, приспосабливались к советской жизни мои близкие: ведь и жена, и Алексей с Сергеем родились во Франции: жена в 1908-м, ребята в 1938 и 1944 гг. При первом же появлении в Советском Союзе они так легко вписались в здешнюю жизнь, что, например, Алексей не захотел возвращаться в США (мы приехали впервые в 1955 году на два месяца). А во второй свой кратковременный приезд в Москву в 1957 году мне удалось перевести Алексея из Нью-Йоркского универ-



Биолог с мировым именем Сергей Чахотин вернулся в СССР после второй мировой войны. «Наука, мир, социализм — три грани моей жизни»,— говорит ученый. Фото Н. Гранова.

ситета в Московский. Мы не имели тогда визы на постоянное жительство, нам дали лишь въездную и выездную на два месяца, и мы вынуждены были вернуться в США. Все, кроме Алексея. И вот тут взбунтовался младший, Сергей, он тоже не захотел возвращаться в Америку!

...Мы вернулись на Родину в самом начале ее космических триумфов. Помню мою гордость за своих соотечественников в тот день, когда в холле Генеральной Ассамблеи, когда я еще не работал в ООН, была выставлена модель первого спутника Земли. С тех пор само слово «спутник» в русской транскрипции вошло в словари всех языков мира. Помню выставку наших космических достижений в Женеве. Потом последовали свершения, в реальность которых трудно верится и по сей день: первый космонавт, первая женщина в космосе, три человека в одном кораблеспутнике!..

Как человек объективный, больше всего в жизни любящий правду и доброту,— впрочем, я не обольщаюсь: так о себе думает каждый — я не мог не убедиться в колос-



Преподаватель Саратовского педагогического института Алексей Юматов родился и вырос в Париже в семье русских эмигрантов. Фото Д. Ухтомского.

сальных достижениях за время, что меня не было на Родине. Гуляя по улицам, я не мог не видеть изобилия детских садов, школ и библиотек (библиотек у нас больше, чем в западноевропейских странах, вместе взятых), не мог не любоваться нашим градостроительством, улицами и площадями, утопающими в парках,— разве только один Лондон может в этом плане конкурировать с Москвой, Ленинградом и Киевом.

В заключение вот что скажу вам, друзья: если мне и трудновато было менять свои сорокалетние привычки, приобретенные на Западе, плюс двадцатилетние в царской России — детство, отрочество и юность, если я зачастую, живя уже в Советском Союзе, ворчал на соседей в очередях, на промахи в организации быта, то это буквально ничто в сравнении с тем счастьем, которым меня одарила Родина и мои земляки в 1960 году! Я не преувеличивал, не «приспосабливался» и не врал, когда в личном письме Владимиру Федоровичу Промыслову, мэру города Москвы, который в 1960-м дал мне путевку в новую жизнь, говоря проще — жилплощадь в Москве, писал, что последние двадцать лет (1960—1980) — это мои лучшие годы! Горе тому, кто думает обойтись без Родины, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!

Не обходятся без Родины и живущие на чужбине мои знакомые русские люди. Начав в 1965 году писать книгу своих воспоминаний об однополчанах, с которыми мне довелось воевать против немцев в рядах французской армии, в ответ на один мой запрос я получил из Парижа письмо от князя Николая Николаевича Оболенского.

Я спрашивал, можно ли в своих воспоминаниях, если они будут опубликованы, называть его настоящим именем, а если нет, то как он предпочитает: начальной буквой или другой вымышленной фамилией? Вот как он мне ответил:

«Теперь о самом для меня главном. Вы знаете, что я принял на себя добровольное обязательство в абсолютной лояльности к Франции, которая дала мне убежище, право учиться и возможность работать... Больше того: Франция позволила мне обзавестись семьей и прокормить все четыре ее поколения! Эту свою лояльность я и попытался доказать в 1939 году.

Я глубоко благодарен и искренне предан этой великой стране (кстати, любовь взаимная: недавно я был награжден орденом Почетного Легиона, а Военный Крест, если Вы помните, я уже получил давно, в 1940 году).

Тем не менее я не перешел во французское подданство, а остался человеком без гражданства. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не отрекался ни от своего народа, ни от родной земли, ни от своей национальности.

Если бы Вам пришлось в случае моей смерти, где-нибудь на поле битвы под Сент-Менульдом, например, собирая документы, вынуть содержимое моих карманов, Вы нашли бы в них трехцветную ленту национального флага и значок полка, в котором я бы служил, если бы...

Ведь закончили войну с Германией в 1918 году (а не в 1917-ом) участники Русского батальона чести, входившего в состав Марокканской дивизии. Ведь это они первыми прорвали линию Гиндинбурга! А войну в 1939 г. против того же врага начали Вы и я в числе, конечно, других русских. Едва ли мы с Вами сомневались, что воюем не только за Францию, но и за Родину! Отец мой говорил, что французский мундир единственный, который русский имеет право надеть, кроме собственного. А он-то, мой отец, был русским до мозга костей.

Так вот, если Ваш рассказ о Баркаресе, Арденнах и Сент-Менульде оставит у Вашего читателя впечатление полной лояльности начальника Вашего взвода и боевого товарища к своему мундиру и к тому, что этот мундир представлял, т. е. к Франции, то называйте этого Вашего соратника и друга его настоящей фамилией.

Но с одним условием: называть фамилию полностью, ничего в ней не опуская. Не моя заслуга, что я родился Оболенским, но... лучше этого имени — не знаю имени! Знаю также, что крепко оно связано с Русской землей и, между прочим, с Куликовым полем».

Когда я жил в США, я заметил,— правда, это было не всегда: «холодная война» то сгущалась до сильного мороза, то теплела,— что некоторые реакционно настроенные почтовые чиновники зеленели от бешенства при взгляде на почтовую марку с изображением Ленина. Некоторые посылки из СССР не доходили до меня вовсе — возможно, по этой

причине. Вот почему по сей день у меня такая привычка на заграничные посылки клеить «нейтральные» марки.

Это я сказал и знакомой девушке в нашем почтовом отделении, когда посылал Оболенскому «Историю СССР», два первых тома. А она улыбнулась чуть иронически и заметила: «Не хотите князя огорчить?»

При этом должен сказать, что на моей посылке его фамилия значилась без титула.

Когда я рассказал об этом в очередном письме в Париж, про себя гордясь осведомленностью советской молодежи, растроганный князь написал мне: «На старости лет и на основании прав, приобретенных сединами, я мысленно поцеловал в лобик Вашу остроумную барышню из почтового отделения».

Так вот, друзья мои, несмотря на многие мелочи, я искренне восхищаюсь тем, что вижу вокруг себя. Нежно люблю советскую молодежь (надеюсь, что это взаимно), люблю и горжусь нашими космическими достижениями, нашим градостроительством, нашими сказочными красавицами москвичками. И — мой балет, мой театр, моя молодая проза (особенно Сибирь!), моя поэзия. И музыка! Все девять муз! Что и говорить: жить хорошо!

Я так «приспособился» к советскому образу жизни, что когда в 1972 и 1976 годах снова оказался в Париже, Женеве и Вене, то уже никак не мог приспособиться к тамошней жизни: и все мне уже не нравилось, что нравилось когда-то. И право же, меня туда больше не тянет!

Содержание

Почему мы вернулись на Родину
свидетельства реэмигрантов

«Я отрезаю себя от эмиграции».

Алексей Толстой

«...есть один совершенно особенный магнит, сильнее всех остальных, существующих на свете... Никакие силы мира не могут и никогда не смогут преодолеть силы притяжения этого магнита. Имя ему — Родная Земля».

Борис Александровский

«Я не мог не отдавать отчета в том, что все лучшее, принадлежащее моему резцу, создано на российской земле, вскормившей меня».

Сергей Коненков

«Любовь к Отечеству, борьба за свободу от немецкого ига, которое грозило России и всему миру, сплотила всех...»

Митрополит Вениамин

«Горжусь свершениями моего народа и преклоняюсь перед социальным строем, обеспечившим России достойное место среди других стран».

Виктор Яхонтов



50 коп.